

Джордж Сантаяна.
СКЕПТИЦИЗМ И ЖИВОТНАЯ ВЕРА.

Перевод с английского А.С.Фомина

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами еще одна философская система, и если у читателя тут возникает желание улыбнуться, я могу заверить его, что я улыбаюсь вместе с ним и что моя система (критическим введением к которой является эта книга (значительно отличается по своему духу и притязаниям от того, что обычно называют этим словом. Прежде всего, она не является ни моей системой, ни новой. Я просто пытаюсь представить читателю те принципы, к которым он обращается, если он сейчас усмехается. В глубинах его души, под слоем трафаретных мнений, покоятся принципы, на которых я бы желал построить наши дружеские отношения. Я глубоко уважаю приверженность традиции, но не той, которая преобладает в отдельных школах или странах и меняется от одной эпохи к другой, а той традиции практической остроты ума, которую простые люди повсеместно проявляют в своих чувствах и действиях. Я считаю, что здравый смысл, грубо говоря, представляет собой более надежный инструмент познания, чем особенные философские школы, каждая из которых в своем стремлении отыскать более или менее подходящий ключ к целому тенденциозно рассматривает или упускает из виду половину фактов и половину трудностей. Меня побуждает действовать недоверие ко всем великим догадкам и симпатия к давнишним предрассудкам и обыденным верованиям человечества; они плохо сформулированы, но зато хорошо обоснованы. То новое, что, может быть, присуще моему взгляду на мир, состоит буквально в том, чтобы искоренить основания софистики, придавая обыденным взглядам более точную и обдуманную форму. Я не претендую ни на то, чтобы постигнуть ее первоначала, ни на то, чтобы обрисовать ее контуры. Я буду продвигаться к истине исключительно так, как это делают в своем поиске и воображении животные, продвигаясь сперва в одном направлении, потом в другом, и ожидая, что действительность не проще, а гораздо шире и сложнее, чем мое опытное знание о ней. В философии моя позиция в точности такова, как в обыденной жизни; в противном случае я был бы бесчестным. Я принимаю во внимание те же самые разнообразные свидетельства, повинуюсь тем же самым очевидным фактам, делаю предположения не в меньшей степени инстинктивно, признаю ту же самую меру незнания окружающего.

Таким образом, моя система (это не учение об универсуме. Царства Бытия, о которых я говорю, (это не части космоса и не единый космос, взятый как целое; это только разновидности или категории вещей, которые я считаю явно различными и заслуживающими различения, по крайней мере в моем собственном мышлении. Я не знаю, сколько вещей в космосе вообще может попасть в каждый из этих классов, какие царства Бытия могут оказаться несуществующими, к каким я не имею доступа и какие мне не довелось выделить, наблюдая мир. Логика, подобно языку, представляет собой отчасти свободную конструкцию, отчасти средство подыскивать символы и связывать в едином выражении существующее многообразие вещей; и в то время как одни языки, если принять во внимание конституцию и природу человека, возможно, представляются ему более совершенными и подходящими, то глупо в патриотическом рвении настаивать на том, что только родной язык понятен и адекватен. Никакой язык и никакая логика не являются адекватными в том смысле, что они не тождественны фактам, для выражения которых они употребляются. Любой язык и любая логика будут адекватными, если они верны этим фактам так, как может быть точным перевод. Я пытаюсь строго придерживаться тех способов мышления, которые даны мне,

очистить мой разум от трафаретов, освободить его от тисков искусственных традиций, но я никого не призываю пользоваться моими способами, если предпочтительнее другие. Пусть он сам, если сможет, лучше вымоет окна души, чтобы многообразие и красота открывающейся ему панорамы могли предстать перед ним во всем своем блеске.

Более того, моя система (я не говорю об ироническом значении этого слова (не является метафизической). В ней уделяется большое внимание критическому разбору метафизики, а также содержатся некоторые спекулятивные уточнения, например в истолковании сущности, с которыми незнакома широкая публика; и я отрицаю свою причастность к метафизике не на том основании, будто я вообще испытываю неприязнь к диалектике и пренебрегаю нематериальными предметами; на самом деле, я говорю главным образом именно о нематериальных предметах, сущности, истине и духе. Но логика, математика и психология познания (*literary psychology*) (если это действительно психология познания) не относятся к метафизике, хотя их предмет не материален, а применимость к реальным вещам зачастую сомнительна. Метафизика в собственном смысле слова является диалектической физикой, то есть попыткой определить сущность вещей посредством логических, моральных и риторических конструкций. Она возникает благодаря смешению тех царств Бытия, которые я в особенности хотел бы разграничить. Она не представляет собой ни спекуляцию о природе, ни чистую логику, ни подлинную литературу (*honest literature*), а является (как она впервые была названа этим именем в трактате Аристотеля) гибридом их трех, где идеальные сущности объективируются, гармонии обращаются в силы, а природные вещи сводятся к терминам дискурса¹. Априорные предположения относительно природного мира, как, например, умозрительные догадки ионийских философов относительно природы, являются не метафизикой, а просто космологией или натуральной философией. В сфере натуральной философии я решительный материалист (по-видимому, единственный среди живущих сейчас; и я отдаю себе отчет в том, что идеалисты склонны с раздражением называть метафизикой также и материализм, для того чтобы дискредитировать его, ассимилируя в собственные системы. Но при всем этом мой материализм не является метафизическим. Я не претендую на знание того, что есть материя сама по себе, и не верю утверждениям тех *esprits forts*², которые, предаваясь порочной жизни, думали, что универсум, должно быть, состоит не из чего-либо иного, как игральные кости и бильярдные шары. Я жду от ученых, чтобы они сказали мне, что такое материя, в той мере, в какой они в состоянии это открыть, и меня совершенно не удивляет и не беспокоит абстрактность и неопределенность их фундаментальных понятий. Как могут наши понятия о предметах, столь далеких от масштабов и пределов наших чувств, быть чем-либо иным, как схемами? Но чем бы ни была материя, я смело называю ее материей, как я называю своих знакомых Джоном и Смитом, не зная их секретов; и чем бы она ни была, она должна обнаруживать те же свойства, подвергаться тем же изменениям, как и объекты, заполняющие наш мир; и если уверенность в существовании в природе скрытых частей и движений является метафизикой, то кухарка, чистящая картошку, (метафизик).

Наконец, хотя моя система, безусловно, формировалась в пылу современных дискуссий, она ни в коей мере не является этапом какого бы то ни было современного движения. Я вообще не могу принять всерьез суетливые выпады приверженцев воображения против интеллекта. Я так же, как они, нуждаюсь в образах, но в нашей сознательной жизни, когда мы переходим к делам, к ним следует относиться скептически. Я воздаю должное многим реформам и революциям, из которых состоит история философии. Я высоко ценю взаимную острую критику философских школ, некоторые их открытия; но беда в том, что каждая из них, одна вслед за другой, отвергала или предавала забвению значительно более существенные истины, чем те, которые она утверждала сама. Первые философы, первоначальные исследователи жизни и природы, были самыми лучшими. Я думаю, что только индийские и греческие натуралисты, а также Спиноза были правы в постановке глобальной проблемы (отношении человека и его духа к универсуму. Не мое нежелание быть чьим-то последователем побуждает меня не обращать внимания на нынешние философские распри, я

бы с удовольствием учился у них у всех, если бы они большему учились друг у друга. И даже при этом я пытаюсь удерживать положительные результаты каждого приводя их к шкале природы и отводя положенное им место; итак, я платоник в логике и морали и трансценденталист в романтическом внутреннем монологе, когда я считаю возможным позволить себе это. Совсем не обязательно, обладая способностью приобретать знания у разных мастеров, становиться эклектиком. Все эти разные перспективы рисуют картину одного и того же леса, полная и точная карта которого должна быть составлена в одном масштабе, в одной проекции, в одном стиле. Все известные истины могут быть переведены в любой язык, хотя интонация и поэтические особенности, возможно, остаются непередаваемыми. Я доволен тем, что пишу по-английски, хотя это не мой родной язык, а в спекулятивных вопросах меня не очень устраивает английский склад ума; я также доволен тем, что придерживаюсь европейской философской традиции, как бы мало я ни ценил ее напыщенную метафизику, характер ее гуманизма и ее поглощенность земными заботами. Однако есть один пункт, где я действительно сожалею, что не могу извлечь пользу из свидетельств моих современников. Сейчас в естественной и математической философии происходят значительные перемены, по-видимому, пришла пора и для нового учения о природе, более изощренного и обширного одновременно, каких не было со времен Древней Греции. Вскоре мы все сможем уверовать в оригинальную космологию, сопоставимую с космологией Гераклита, Пифагора и Демокрита. Я желаю успеха подобным научным системам. Если бы я был способен понимать и предугадывать их методы, я бы с радостью воспользовался их результатами, которые непременно будут столь же живописными, сколь поучительными. Однако то, что имеется сегодня, так гипотетично, туманно, так перемешано с дурной философией, что невозможно разобраться в том, какие части логически обоснованы, а какие чисто субъективны и легковесны. Если бы я был математиком, несомненно, сам я, если не читатель, упивался бы электромагнитными или логистическими системами универсума, выраженными в алгебраических символах. Однако, хорошо это или плохо, я (необразованный человек, почти поэт. Я могу довольствоваться лишь тем, что знают все профаны. К счастью, для утверждения моей доктрины по существу не требуются точные науки и ученые книги; ни одно из них к тому же не может претендовать на то, что она дает более весомое доказательство, чем то, которое она имеет в самой себе, ибо она опирается на общественный опыт. Для ее обоснования нужны только звезды, смена сезонов, движущиеся стаи животных, созерцание рождений и смертей, городов и войн. Моя философия обоснована и обосновывалась во все века и во всех странах теми фактами, которые находятся перед глазами каждого; не требуется большого ума, чтобы открыть ее, требуется только непредвзятое размышление и смелость (что встречается гораздо реже, чем ум). Образование не освобождает от предрассудков людей, чьи души охвачены страхом; и, без обучения, зоркие глаза и глубокая рефлексия могут проникнуть в суть вещей и увидеть зерно истины среди множества образов. Мой язык и усвоенное знание были бы различны в прошлом или в будущем, но под каким небом я бы ни родился, у меня была бы та же самая философия, потому что это одно и то же небо.

Глава I

НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ КРИТИКИ

Философ вынужден придерживаться максимы эпических поэтов и погружаться *in medias res*³. Начало вещей, если вещи имеют начало, не может открыться мне, пока я не отошел от него очень далеко, и много оборотов солнца должно предшествовать моему первому рассвету. Появление света затмевает свечу. Возможно, что у вещей вообще нет источника и никакой простейшей формы, из которой они развились, а есть только бесконечная последовательность различных сложных образований. В таком случае ничто не будет потеряно, если присоединиться к этой череде, когда бы ни пришлось обратиться к ней, и следовать за ней, пока это возможно. Каждый может наблюдать ее типичный фрагмент, но его знание не стало бы более глубоким, если бы он рассмотрел больше вещей: ему только

пришлось бы больше объяснять. Сама идея понимания или объяснения в этом случае была бы абсурдной; тем не менее, источник этой идеи (в распространенном представлении или подтвержденном опытом знании, что по крайней мере в некоторых областях вещи происходят из более простых вещей: можно, например, испечь хлеб, и в процессе выпечки соединяются тесто, огонь и печь. Подобного эпизода достаточно, для того чтобы составить представления о первопричинах и объяснениях, и безо всякого предположения, что тесто и горячая печь как таковые являются первичными фактами. Соответственно и философ может достаточно успешно обнаруживать в жизни случаи изменений: родители (дети, штормы (кораблекрушения, аффекты (трагедии. Если он начнет с середины, то все равно он начнет с начала чего-то и, может быть, если он сможет начать, то начнет с начала вещей.

С другой стороны, в целом это предположение, возможно, ошибочно. Возможно, вещи имели какое-то простое начало или содержат простые элементы. В этом случае философ обязан доказать этот факт, то есть обнаружить в наличных сложных объектах свидетельство того, что они состоят из простых. Но и в этом процессе доказательства он начал бы с середины и дошел бы до истоков или первоначал только в конце своего анализа.

То же можно сказать и о первых принципах дискурса (discourse). Они никогда не могут быть обнаружены (при условии, что это вообще удастся, (если в течение долгого времени они не принимались как само собой разумеющееся и не применялись в том самом исследовании, которое должно выявить их. Оказывается, что чем более непреложна логика, тем меньше у нее первых принципов, тем более они просты, но чтобы их обнаружить и вывести из них все остальные, нужно сперва применять их бессознательно, если это те принципы, которые придают доказательность действительному дискурсу; таким образом, разум должен доверять распространенным представлениям, обнаружив, что они являются логическими (то есть когда они обосновываются более общими неопровержимыми предпосылками, (не в меньшей степени, чем когда обнаруживается, что они произвольны и чисто инстинктивны.

Действительно, совершенно независимо от живого дискурса можно произвольно утвердить некую совокупность аксиом или постулатов, настолько простых, насколько мы хотим, и получить из них выводы *ad libitum*⁴; но такая чистая логика бесплодна, если мы не обнаружим или не предположим, что дискурс или природа действительно следует ей; рассуждения людей на самом деле осуществляются не путем дедукции из произвольно выбранных первых принципов, а благодаря свободной предрасположенности продуктивного воображения, которое, в лучшем случае, может впоследствии представить эти принципы в идеальной форме. Более того, если бы нам удалось обнажить нашу мысль настолько, что она могла бы выступать на арене чистой логики, мы, пожалуй, продемонстрировали бы выдающееся мастерство в диалектике, но это мастерство оказалось бы только лишь дополнением к сложности природы, а не ее упрощением. Тогда в этом беспорядочном мире, помимо его прочих нелепостей, появились бы еще логики с их игрушками. Если, обращаясь к изменчивым фактам, мы случайно, путем анализа обнаружили бы, что они подчиняются этой идеальной логике, мы вновь должны были бы начинать с вещей, какими мы их находим в непосредственной очевидности, а не с первых принципов.

Можно мимоходом отметить, что ни одна логика, которой когда-либо приписывалось господство над природой или человеческим дискурсом, не была непреложной логикой. Она представляла собой в той степени, в какой ее иллюстрируют примеры из жизни, обычное описание (психологическое или историческое (фактического процесса. Когда в конце концов совсем недавно чистая логика была четко разработана, сразу же выяснилось, что она не имеет никакого очевидного приложения и является метафорическим экскурсом в царство сущности.

В сплетении человеческих представлений, обычно выражающихся в языке и литературе, нетрудно отличить обязательный фактор, который обозначается как факты или вещи, от в значительной мере случайного и спорного фактора, обозначаемого как предположение или истолкование. Дело не в том, что то, что мы называем фактами, является совершенно несомненным или состоящим из непосредственных данных, а в том, что в области фактов мы

гораздо скорее останавливаемся и чувствуем, что нам не угрожает критика. Свести обычные представления к фактам, на которых они основываются, какими бы сомнительными сами по себе ни были эти факты в других отношениях, (значит очистить нашу интеллектуальную совесть от произвольных и отнюдь не неизбежных иллюзий. Если то, что мы называем фактом, все же обманывает нас, мы чувствуем, что нашей вины тут нет; мы бы не стали называть это фактом, если бы видели какой-нибудь способ избежать этого признания. Сведение обычных представлений к осознанию фактов представляет собой эмпирическую критику знания.

Чем более радикальна эта критика, чем более революционны представления, к которым она приводит меня, тем более очевиден обнаруживаемый мной контраст между тем, что я знаю, и тем, что считал, будто бы знаю. Но если эти простые факты представляют собой все, с чем я должен двигаться дальше, каким образом я пришел к этим необычным заключениям? Какие принципы истолкования, какие склонности воображения (*tendencies to feign*), как привычные способы мышления действовали во мне? Ведь если ничто в фактах не подтверждало мои верования (*beliefs*), их должно было внушить мне нечто во мне самом. Высвободить и сформулировать эти субъективные принципы интерпретации (это и есть трансцендентальная критика знания.

Трансцендентальный критицизм в руках Канта и его последователей был инструментом скептицизма, который применялся теми, кто не был скептиком. Поэтому они включили в свои доказательства ряд предположений, которые не были критическими, например, предположение о том, что свойства воображения должны быть одинаковыми у всех, что представления о природе, об истории, о душе, к которым они приводили людей, являются верными понятиями об этих предметах, что строить на этих принципах энциклопедию неистинных наук и характеризовать их как знание (похвальное занятие, а не постыдная софистика. Подлинный скептик начнет с отказа от всех этих академических установлений как от заведомых фикций, он спросит, останется ли хоть что-нибудь от фактов, если будет удалено все, что вносят в опыт эти случайно выбранные свойства воображения.

Единственная критическая функция трансцендентализма состоит в том, чтобы поставить эмпиризм на место и усомниться в том, предоставляет ли он хоть какое-нибудь знание о факте; эмпирический критицизм будет не в состоянии сделать это. Подобно тому как невнимательность ведет обычных людей к тому, что они принимают в качестве составной части данных фактов все, что добавила к ним их бессознательная трансцендентальная логика, так на более глубоком уровне подобное отсутствие внимания ведет эмпирика к тому, чтобы предполагать в своих радикальных фактах существование, которое им неприсуще. Оставаясь беспомощным и покорным перед фактами, эмпирик, при всей своей самоуверенности, подчиняется скорее своей иллюзии, чем их свидетельству. Таким образом, трансцендентальный критицизм, применяемый истинным скептиком, может заставить эмпирический критицизм раскрыть свои карты. Эмпирический критицизм обманулся в своих картах и блефовал, не сознавая этого.

Глава II

ДОГМА И СОМНЕНИЕ

Привычка не порождает понимание, а занимает его место, приучая людей самоуверенно идти по жизни, не понимая ни того, что такое жизнь, ни того, что они знают о ней, ни того, что они сами представляют собой. Если их внимание привлекает какое-нибудь замечательное явление, например радуга, они не анализируют это явление и не исследуют его с различных точек зрения, а мобилизуют для его понимания все ненадежные ресурсы воображения, и эта целостная реакция души кристаллизуется в виде догмы: радугу принимают за предвестника хорошей погоды или за след, оставленный в небе прекрасной неуловимой богиней. Подобная догма, далекая от того, чтобы быть истолкованием или отождествлением мысли с истиной объекта, сама по себе является новым, добавочным объектом. Первоначальное пассивное восприятие остается неизменным, а вещь (непостижимой; и подобно тому, как ее

неопределенное воздействие сегодня случайно породило одну догму, оно может завтра дать начало другой. Таким образом, по мере того как развивается наше знакомство с миром, мы все больше запутываемся. Помимо фантастической изначальной неадекватности нашего восприятия, теперь мы имеем еще соперничающие друг с другом попытки разъяснения и новую неопределенность, относятся ли эти догмы к первоначальным объектам или они очевидны сами по себе, и если это так, то которая из них истинна.

Благодеящий догматизм действительно возможен. Нам, может быть, присущ такой детерминированный интеллект, что внушение опыта всегда порождает одни и те же догмы; и эти традиционные догмы, непрерывно оживляемые стимулами со стороны вещей, могут стать господствующим или даже единственным способом восприятия вещей. Фактически мы перешли на другой уровень интеллектуального дискурса; мы будем пребывать среди идей. В саду в Севилье, проходя сквозь заросли пальм и апельсиновых деревьев, я однажды услышал дискант воспитанника теологической семинарии, который кричал своему товарищу: "Дуралей! Конечно же у ангелов более совершенная природа, чем у людей". В своей черной с красным сутане мальчик вообразил себя диалектиком и играл в догматы, грезил словами и при этом не чувствовал аромата фиалок, которым был напоен воздух. Долго ли это будет продолжаться? Я думаю, что едва ли до следующей весны, и беспокойное пробуждение, которое созревание принесет этому маленькому догматику, рано или поздно происходит со всеми взрослеющими догматиками под давлением жизни. Чем безупречнее догматизм, тем менее он надежен. Большой верхний марсель, который невозможно взять на рифы или свернуть, первым уносит шторм.

На мой взгляд, мнения человечества безотносительно к каким-либо противоположным предрассудкам (поскольку я не могу предложить никаких альтернативных мнений) в сопоставлении с порядком природы представляются ошеломляющими фикциями, и просто удивительно, как можно их придерживаться. Какие нелепые религиозные учения, какая дикая мораль, какие отвратительные моды, какие ханжеские интересы! Я могу все это объяснить, только убеждая себя, что умственные способности естественно развиваются, движутся вперед, нагромождают одну фикцию на другую; и тот факт, что догматическая структура пока что держится и растет, принимается за доказательство ее справедливости. В определенном смысле она и в самом деле реальна, как реален рост растений, она жизненна, ей присущи пластичность и теплота, некая косвенная связь с почвой и климатом. Многие явно неправдоподобные догмы, например религиозные, могли бы постоянно властвовать над самыми активными умами, если бы не одно обстоятельство. В джунглях одно дерево душил другое, изобилие само по себе смертельно. То же самое происходит с изобилием в человеческой душе. Что убивает спонтанные фикции, что отвращает пылкое воображение от его импровизированных творений? Зов иного, противоположного образа воображения; природа, молча дурача нас всю жизнь, никогда не заставит нас взяться за ум; это могут сделать самые безрассудные утверждения разума, когда они бросают вызов друг другу. Критицизм возникает из конфликта между догмами.

Могу ли я выйти из этого затруднительного положения и занять критическую позицию, не опираясь на догматический критерий? Вряд ли; хотя критика может быть представлена в гипотетической форме, когда, например, говорят, что если бы ребенок понимал своего отца, это был бы благоразумный ребенок, но мысль, которая ставится под сомнение, (это вопрос факта. То, что имеются отцы и дети, предполагается догматически. А если это не так, то каким бы неясным ни было существенное отношение между отцами и детьми в идеальном смысле, нельзя быть ни умным, ни глупым, относя это к какому бы то ни было конкретному случаю, поскольку таких соотношений вообще не существовало бы в природе. Скептицизм (это подозрение о наличии ошибок относительно фактов, и подозревать такие ошибки (значит принимать участие в деятельности познания, что предполагает факты и возможные ошибки. Скептик считает себя проницательным и часто оказывается таковым. Его интеллект, подобно интеллекту, критикуемому им, может иметь весьма отдаленное представление о сути и связи вещей. Он может пробиться к истине природы через обыденные заблуждения.

Поскольку его критика может, таким образом, оказаться истинной, а сомнения хорошо обоснованными, они, безусловно, являются суждениями, и если он искренний скептик, это суждения, которые он будет решительно отстаивать. Скептицизм, таким образом, представляет собой разновидность верования (beliefs). Догма не может быть отвергнута, она может быть только пересмотрена в свете некоторых более элементарных догм, в которых скептик не имел случая усомниться, и он может быть прав в каждом пункте своей критики, исключая иллюзию того, будто его критика радикальна, а сам он (абсолютный скептик. Эта вынужденная необходимость постулировать нечто и принимать это на веру даже в самом акте сомнения тем не менее была бы унижительной, если бы взгляды, навязываемые мне жизнью и разумом, были бы всегда ложны. Поэтому я должен воздавать должное скептику за его героическую, хотя и безнадежную попытку воздерживаться от веры и презирать догматику за его добровольное раболепство перед иллюзией. Я убежден в том, что дальнейшее покажет, что дело обстоит не так, что интеллект по своей природе достоверен, что его претензия достигнуть истины здрава и может быть удовлетворена, даже если каждая из этих попыток на деле терпит неудачу. Однако чтобы убедить себя в этом, я должен сперва обосновать свою веру с помощью многих вспомогательных верований, касающихся уклада жизни животных, человеческого разума, а также мира, в котором они действуют. То, что скептицизм вообще появляется в философии, является случайным событием человеческой истории, связанным с печальным опытом затруднений и ошибок. Если бы все шло хорошо, суждения выносились бы спонтанно в догматической наивности, и сама идея о праве выносить их казалась бы такой же необоснованной, какой она и является на самом деле, поскольку все царства бытия открыты духу достаточно пластичному, чтобы воспринимать их, и пусть слушает имеющий уши, чтобы услышать. Тем не мене при запутанном состоянии человеческой спекуляции это замешательство происходит произвольно, и тот современный философ был бы смешон и ничтожен, кто не проверил бы свои догмы со всей строгостью скептицизма, кто не подошел бы ко всем мнениям, включая свои собственные основные принципы, с учтивостью и улыбкой скептика. Жестокая необходимость верить во что-то до тех пор, пока продолжается жизнь, не дает оправдания никакому верованию в частности. Однако это не убеждает меня в том, что по тем же самым причинам не жить (не было бы более безопасно и здраво. Мертвый и не имеющий никаких представлений, безусловно, не открывает истину, но если все мнения необходимо сложны, это по крайней мере не является грехом против интеллектуальной честности. Позвольте мне продвинуть скептицизм так далеко, насколько позволяет логика, и попытаться очистить мое сознание от иллюзий даже ценой интеллектуального самоубийства.

Глава III

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СКЕПТИЦИЗМ

Душу, вооруженную традиционными взглядами, скептицизм застаёт врасплох. Все внушения здравого смысла и языка дети воспринимают бессознательно. Единственная инициатива, которую они проявляют, состоит в своевольном расширении этих понятий, в побуждении к образованию личных предрассудков. Вскоре это корректируется воспитанием, или резко ломается, как ногти холеных рук, при жестоком столкновении с обычаями, фактами, насмешками. Затем зарождаются верования во мраке и апатии тесной сферы неясных представлений, ни одно из которых не должно быть непременно родственно разуму, ни одно из них он не должен на самом деле понимать, но тем не менее он цепляется за них ввиду отсутствия другой точки опоры. Философия обычного человека подобна старой жене, которая не приносит ему никакой радости, но без нее он не может жить и негодует на посторонних, если они пытаются бранить ее характер.

Религиозная вера (хрупкая оболочка этой домашней философии; фактически религия является наименее жизненной и наиболее произвольной частью человеческих взглядов, как бы внешним кольцом фортификационных сооружений предрассудков, но именно по этой причине ее защищают наиболее ревностно, поскольку нападение на нее (на самый уязвимый

пункт (в первую очередь рождает в цитадели панику и страх перед общим штурмом. Люди по своей природе не являются скептиками, сомневающимися в том, можно ли обоснованно придерживаться хоть одной единственной интеллектуальной привычки. Они (догматики, категорически настроенные отстаивать их все. Целые души, воспитанные в одной отчетливой традиции, считают свою религию, какой бы она ни была, верной, возвышенной и единственно разумной основой морали и политики. На деле же религиозные верования крайне неосновательны, отчасти потому что они произвольны, так что у соседнего племени или в последующие века они принимают совершенно другую форму; отчасти оттого, что если они искренни, то спонтанны и, подобно поэзии, постоянно меняются в той душе, в которой рождаются. Обычный человек вскоре научается ставить под сомнение утвердившиеся религии в силу их разнообразия и нелепости, хотя он может продолжать благодушно подчиняться своей собственной; мистик же вскоре начинает горячо осуждать современные догмы на основе особого наития. Следовательно, без философской критики простой опыт и здравый смысл наводят на мысль, что все позитивные религии ложны или по крайней мере (чего вполне достаточно для моих нынешних задач) нереальны и ненадежны. С религиозными верованиями обычно тесно связаны легенды и предания, драматические, если не сверхъестественные. Человеку, который хоть немного знает литературу и знаком с тем, как пишутся истории даже в самые просвещенные времена, не нужен сатирик, чтобы напомнить, что всякая история, поскольку в ней есть система, драматическая коллизия или мораль, является не в меньшей степени произведением литературы, и скорее всего беспристрастным. Однако здравый смысл будет тем не менее утверждать, что существуют очевидные зафиксированные факты, в которых нельзя сомневаться, так же как он будет убежден, что существуют очевидные факты в природе; и именно тогда, когда общедоступная философия сводится к позитивизму, на сцене может появиться спекулятивный критик. У критицизма, как я говорил, нет первых принципов. Его несистематический характер может быть отчетливо здесь выявлен, если задать вопрос, следует ли в первую очередь подвергать сомнению данные науки или данные истории. Я мог бы возражать против верования в физические факты, о которых свидетельствуют чувства и естествознание, например в существование колец Сатурна, сведя их до уровня явлений, представляющих собой факты, сообщенные моей памятью. Именно этот подход избрали английские и немецкие критики знания, которые, полагаясь на память и историю, отрицали существование чего-либо, кроме опыта. Однако более благоразумным представляется другой подход: знание сообщаемых историей фактов опосредуется документами, которые являются физическими фактами; прежде чем эти документы могут быть приняты в качестве свидетельств каких-либо духовных событий, их сперва нужно обнаружить и поверить, что они суть документы, имеющие более или менее отдаленное происхождение во времени и пространстве, о существовании которых ранее было известно. Если бы я не верил, что в Афинах жили люди, я не мог бы вообразить, что они имели идеи. Даже собственная память, когда она претендует на воспроизведение каких-либо далеких переживаний, может распознать эти переживания и найти для них место, только сперва реконструировав материальные условия, при которых они произошли. Память передает события духовной жизни в их связи с реальными обстоятельствами. Если бы последние были воображаемыми, первые были бы воображаемыми вдвойне, подобно мыслям литературного персонажа. Мои воспоминания о прошлом (это повествование, которое я постоянно переписываю; они представляли бы собой не историческое повествование, а чистый вымысел, если бы объективные события, которыми отмечен и нагружен мой жизненный путь, не имели бы общеизвестных дат и признаков, которые поддаются научной проверке. Поэтому несостоятелен романтический солипсизм, в котором субъект, заключающий в себе вселенную, (духовная личность, обладающая памятью и преувеличенным представлением о себе. Дело не в том, что его нельзя помыслить, или что эта идея включает внутреннее противоречие в себе самой, поскольку все дополнительные объекты, которые могут потребоваться, чтобы дать опору и плоть идее самого себя, могут быть только идеями, а не

фактами. Единое божество, воображающее мир или вспоминающее свое прошлое, представляет собой вполне мыслимый космос. Но в этом воображаемом образе не содержалась бы истина, а эта память была бы вне контроля, так что наивное верование в такое божество, которое помнило бы свое собственное прошлое, было бы самой необоснованной из догм; и если бы случайно эта догма могла оказаться истинной, у этого божества не было бы никаких оснований так считать. Первый укол критики вынудил бы его признать, что его предполагаемое прошлое представляет собой лишь картину, возникающую перед его глазами, и что у него нет никаких оснований полагать, будто эта картина была изменена в череде следовавших друг за другом мгновений, что оно вообще прожило эти предшествующие мгновения, никакой новый опыт не сможет сделать когда-либо достоверным это неправильное убеждение или подтвердить его. Это очевидно; таким образом, романтический солипсизм, хотя, пожалуй, и интересное умонастроение не является точкой зрения, которую можно было бы отстаивать; и любой солипсизм, кроме солипсизма данного момента (*solipsism of the present moment*), с логической точки зрения достоин только презрения.

Постулаты, на которых основывается эмпирическое знание и индуктивная наука, а именно: существовало прошлое, оно было таким, каким мы его теперь представляем, наступит будущее, которое должно по какой-то непостижимой причине быть подобно прошлому и подчиняться тем же самым законам, (все эти постулаты являются догмами, которые не могут быть обоснованы. Скептик в своем честном отстранении ничего не знает о будущем и совершенно не нуждается в этой неоправданной идее. Он может иметь в воображении картины сцен, расположенные где-то на заднем плане, их текстура пронизана идеей до и после, и он может обозначить эту основу своего сознания как прошлое, однако относительная расплывчатость и эфемерность этих фантомов не побуждает его предположить, что они рассеются при свете дня. Они останутся для него только обитателями сумерек (как он их воспринимает. Было бы пустой причудой воображать, что эти призраки когда-то были людьми, это всего лишь низшие боги, обитатели Эреба, в котором они обитают. Предстоящий скептику мир постепенно исчезает в двух противоположных безднах (в прошлом и будущем; однако, отступившись от всех предрассудков и подвергнув анализу все обычные верования, он рассматривает их только как изображенные на картине бездны, подобно тому как на античной сцене существовали два выхода (в поле и в город. Он будет видеть актеров в масках (и раскрывать их смысл), быстро выскакивающих с одной стороны и скрывающихся в с другой, но он понимает, что в тот самый момент, когда они исчезают из поля зрения, для них игра закончена. Это простирающиеся перед ним пространство и события, о которых так эмоционально повествуют гонцы, представляют собой чистый вымысел. Ему же не остается ничего другого, как сидеть на своем месте и предаваться иллюзии трагедии.

Солипсист, таким образом, становится скептическим наблюдателем собственного романа, считает собственные приключения выдумкой и признает солипсизм данного момента. Это честная позиция, и отдельные попытки опровергнуть ее, как заключающую в себе противоречие, основываются на непонимании. Например, бессмысленно утверждать, что данный момент не может охватить целостности существования, потому что выражение "данный момент" предполагает последовательность моментов, или потому что разум, который характеризует любой момент как данный момент, на самом деле выходит за пределы этого понятия, потому что предполагает вне его прошлое и будущее. Эти аргументы смешивают точку зрения солипсиста с точкой зрения наблюдателя, описывающего его со стороны. Скептик не связывает себя значениями языка другого человека. Его не может обвинить и его собственный язык тем, что дает названия, которые он обязан применять к подробностям своего мгновенного восприятия. Здесь могут открываться широкие перспективы: множество фигур людей и зверей, множество легенд и откровений, изображенных на его холсте, его даже может окаймлять неявный контур, содержащий намек на нечто огромное и духовное, которое он может называть. Все это богатство объектов

отнюдь не является несовместимым с солипсизмом, хотя значения обычных слов, которые описывают эти объекты, могут мешать солипсисту данного момента постоянно помнить о своей уединенности. Все же он ощущает ее, когда размышляет, и все его титанические усилия направлены на то, чтобы ничего не утверждать и ничего не подразумевать, а только обращать внимание на то, что он обнаруживает. Скептицизм не заботит уничтожение идей, он может наслаждаться многообразием и упорядоченностью предстающего перед его глазами мира, любым числом следующих одна за другой идей, без сомнений и исключений, которые присущи догматике. Его задача состоит в том, чтобы не брать на веру эти идеи, и не утверждать ни один из этих воображаемых миров, ни призрачный дух, якобы созерцающий их. Позиция скептика отнюдь не является непоследовательной, она лишь трудна, потому что алчному интеллекту не просто иметь пирожное и не есть его. Крайне жадные догматики, подобные Спинозе, утверждают даже, что это невозможно, но эта невозможность является исключительно психологической, она вызвана их жадностью; они, несомненно, искренне выражают свое мнение, когда говорят, что идея лошади, если она не противоречит другим идеям, представляет собой верование, что лошадь существует, но это было бы не так, если у них нет стремления проскакать на этой воображаемой лошади или уступить ей дорогу. Идеи превращаются в верования, только если они, вызывая стремление к действию, убеждают меня в том, что они являются знаками вещей, причем эти вещи не являются просто гипостазированием этих идей, подразумевается, что они состоят из многих частей и полны скрытых сил, совершенно отсутствующих в идеях. Это верование незаметно навязывается мне латентной механической реакцией моего тела на объект, порождающий идею, она ни в коем случае не заключается ни в одном из признаков, которые явным образом содержатся в этой идее. Подобной латентной реакции, поскольку она является механической, едва ли можно избежать, но от нее можно отвлечься в рефлексии, если человек имеет опыт и самообладание философа; трудность, присущая скептицизму, не делает его заслуживающим меньшего уважения, если его воодушевляет твердая решимость исследовать запутанное и величественное явление жизни до самой глубины.

Поскольку солипсизм данного момента не содержит в себе противоречия, он может при определенных условиях быть нормальной и неопровержимой установкой духа; мне представляется, что, возможно, он таков для многих животных. Я нахожу, что придерживаться его систематически трудно, но эта трудность связана с общественным и трудовым характером жизни человека. Существо, вся жизнь которого протекала бы в твердой скорлупе, или существо, проводившее всю жизнь в свободном полете, не нашло бы в солипсизме никаких парадоксов или выкрутасов, и оно не испытало бы ту боль, которую испытывают люди, сомневаясь, поскольку сомнение делает их беззащитными и нерешительными перед лицом возникающих проблем. Существо, действия которого предопределены, вероятно, обладало бы более ясным умом. Оно могло бы испытывать сильное наслаждение мгновением, никогда не представляя себя ни отдельным организмом или чем-то иным, что только объединяет эти мгновения, ни свое наслаждение чем-то отдельным от его красоты, оно не имело бы ни малейших подозрений относительно того, что изменится или погибнет, никаких возражений против этого, если ему выпал такой жребий. Солипсизм представлял бы тогда собой деперсонифицированность, а скептицизм (простоту). Они были бы недоступны разрушению изнутри. Эфемерное насекомое принимало бы свидетельство своего эфемерного объекта, какие бы свойства ни могли оказаться ему присущими; и оно не стало бы полагать, как Декарт, что в его мышлении о чем-либо подразумевается его собственное существование. Появившись на свет только с этой врожденной (а также и опытной) идеей, оно не привносит в свой индивидуальный опыт никаких внешних навыков истолкования и предположения. Его не мучили бы сомнения, поскольку оно ни во что бы не верило.

Однако для людей (долго живущих и обучаемых животных (солипсизм является противоестественной позицией, она допустима только для молодого философа, впервые испытывающего состояние интеллектуальной безысходности, но даже он нередко

обманывает себя, когда думает, что допускает солипсизм, делая вид, будто он взаправду стоит на голове, но подобно неуклюжему акробату он при этом опирается также на руки. Сами термины "солипсизм" и "данный момент" выявляют их неточность. Действительная интуиция, которая, по предположению, является непосредственной, абсолютной и не должна повторяться, обозначается и нередко воспринимается как ipse, как самодостаточный человек. Но тождественность (у меня будет случай отметить это при рассмотрении тождественности сущностей) предполагает два момента, два образца и две интуиции, которым она присуща, и подобным образом "данный момент" указывает на другие моменты и на неопределенное ограничение по длительности или по масштабу; но солипсизм и его мир (что неразлично), согласно предположению, вообще не имеют окружения, и ничто не ограничивает их за исключением того факта, что не существует больше ничего другого. Это несоответствие и восприятие со стороны привносятся в сознание скептика потому, что в действительности он приходит к солипсизму от значительно более претенциозной философии. Кратковременная по природе мысль была бы невосприимчива к ним. Следовательно, едва ли среди людей можно найти совершенного солипсизма, однако некоторые страстно стремятся довести свой скептицизм до солипсизма данного момента по той причине, что их установка позволяет им отбросить все, что не присуще их господствующему расположению духа или самым глубоким мыслям, и утвердить избранную ими позицию как абсолютную. Такого рода компенсирующая догма сама по себе не является критической, но критицизм может помочь поднять ее на особую высоту, отбрасывая все прочее. У разных людей остаток получится разным. Одни говорят, что это Брахма, другие, что это Чистое Бытие, некоторые утверждают, что это Идея или Закон духовного мира. Каждый из этих абсолютов представляет собой священный осадок, удерживаемый темпераментом разных философов и разных наций, который не будет подвергаться дальнейшей критике. В каждом случае он противопоставляется тому миру, в который верит человек, как нечто более глубокое, простое и более реальное. Вероятно, если к солипсизму данного момента приходит философ, воспитанный на абстракциях и склонный к экстазу, его опыт при такой глубине сосредоточения будет опытом крайнего напряжения, который будет также свободой, пустотой, которая есть интенсивный свет. Его отрицание всех природных фактов и событий, которые он объявляет иллюзией, достигнет кульминации в эмоциональном утверждении, что все (Одно, и это Одно (это Брахма, или дыхание жизни. С другой стороны, наблюдающий и размышляющий ученый, которого интересовала субстанция и который пришел к выводу, что все аспекты природы относительно и изменчивы, тем не менее не станет отрицать существования материи в каждом объекте. Этот элемент чистой интенсивности, выделенный из ощущения наличности, свойственной ему самому, может привести его к утверждению, что существует только чистое Бытие и ничего другого. Наконец, несамостоятельный ум, вскормленный книжной премудростью, может упустить из виду ту естественную выразительность, которую чувственные объекты имеют для животных, и не оставить в качестве единственного наполнения данного момента ничего другого, кроме науки. Философ уравнивает отрицание материальных фактов утверждением абсолютной реальности своего знания об этих фактах. Однако эта реальность простирается не дальше, чем имеющаяся у него информация, которую он может собрать воедино в момент интенсивного напряжения памяти; его собственная идея о мире, сконструированная определенным образом и тем самым ограниченная, будет казаться ему единственным существованием. Его вселенная будет отражением его знаний. Можно заметить, что в этих трех примерах скептицизм не воздерживается от утверждения, а напротив, усиливает его, направляя его на священную главу одного избранного объекта. Этим скептическим пророкам присуща неустанная и громозвучная страстность; она выказывает несчастную древнюю психею людей, которая отчаянно действует на обломках своих врожденных упований и отказывается умереть. Она верит, что ее спасение в ее жертве, и пылко отождествляет то, что у нее осталось, со всем тем, что она потеряла, и в дерзновенном заблуждении убеждает себя в том, что она ничего не потеряла.

Таким образом, характер у этих скептиков совсем не скептический. Они мстят миру, который ускользал от них, когда они стремились удостовериться в его существовании, тем, что утверждают существование остатка, еще сохранившегося у них, настаивая на то, что он, и толь он, представляет собой подлинный и совершенный мир, гораздо лучший, чем тот ложный мир, в который верят неучи. Однако солипсисту не обязательно присуща подобная исступленность. Не обязательно полагаться с безрассудной страстью на объект, возможно ничтожный, хотя и наполняющий сознание скептика. Более беспристрастный скептик, созерцающий подобный объект, может отвергнуть его.

Глава IV

СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО САМОСОЗНАНИЯ

Знаю ли я что-нибудь, могу ли что-нибудь знать? Не будет ли знание недопустимым привнесением того, что лежит вне меня? Нельзя ли отказаться от всяких верований? Если бы я только мог, какое спокойствие снизошло на мою смятенную совесть? Вид чужого безрассудства постоянно пробуждает во мне подозрение, что я, несомненно, тоже лишен рассудка; характер воззрений, которые навязываются мне: фантастичность пространства и времени, причудливая мешанина природы, жестокая насмешка, именуемая религией, заслуживающая презрения история человечества и его нелепые пристрастия, (все побуждает меня отрешиться от этого, бросить тому, что я называю миром: "Явись же! Как ты считаешь на то, чтобы я поверил в тебя?" В то же время сама эта неуверенность и сомнение, которые присущи мне, необоснованны и не имеют какого-либо поручительства. Какое право я имею делать предположения относительно того, что является естественным и надлежащим? Разве самый нелепый факт не столь же правдоподобен, как и любой другой? Разве самая очевидная аксиома не является произвольной догмой? Но какой бы путь я ни выбрал, каким бы изощренным я ни был, мне противостоит гнет существования, тирании абсолютного насущного бытия. Что-то несомненно происходит, по крайней мере во мне самом. Я ощущаю непосредственное общее напряжение существования, заставляющее меня полагать, что я мыслю и что я существую. Разумеется, слова, которые я применяю в этом суждении, порождают множество образов, которые едва ли истинны. Так, когда я говорю "Я", это слово подразумевает человека, одного из многих живущих в мире, противоположном его мышлению, но частично отражаемом им. Эти предположения относительно слова "Я" могут быть ложными. Это мышление, возможно, не принадлежит члену семьи людей. Возможно, что никакая раса, подобная человечеству, о котором я думаю, никогда не существовала. Мир природы, в котором я предполагаю существование этой расы наряду с другими видами животных, также может оказаться нереальным. Что же в этом случае представляет собой воображение? Когда я устранию себя и свой мир настолько, насколько хочу, сам акт устранения существует и представляется очевидным, и именно этот акт, сознательно развертываемый сейчас в различных аспектах, я имею в виду, когда говорю: "Я обнаруживаю, что я мыслю и существую", (а не отдельную личность в конкретном окружении.

Подобным образом термины "мыслить", "обнаруживать", которые я применяю за отсутствием лучших, предполагают противопоставления и послышки, на которые я могу не обращать внимания. Я должен утвердить в качестве существующих не особый процесс под названием мышление и не особое сочетание, обозначенное как обнаружение, а только мимолетное волнение, какими бы словами вы ни обозначали его: эти пульсации и фантомы, отрицать которые значит производить их, а стремиться устранить их (значит добавить им силы.

На миг может показаться, будто навязчивая действительность опыта предполагает определенное отношение между субъектом и объектом, так что неподдающееся описанию существо, называемое его, или субъект, было дано в каждом действительном факте и связано с ним. Однако этот анализ является чисто грамматическим, а если продолжать его, приведет к мифологическим представлениям. Анализ никогда не может обнаружить в объекте то, чего,

согласно предположению, в нем нет, а объект, по определению, (это все, что обнаруживается. Однако за этой якобы аналитической необходимостью обнаруживается биологическая истина, открытая значительно позже, которая заключается в том, что животный опыт является продуктом двух факторов, предшествующих опыту, но не являющихся его частью, а именно органа и стимула, тела и среды, личности и ситуации. Обычно эти два естественных условия должны быть совмещены, подобно кремню и огниву, чтобы получить искру опыта. Но скептицизм требует от меня, чтобы за отправную точку я принял саму искру, поскольку она одна фактически существует и освещает своим живым пламенем сцену, которую я, похоже, обнаруживаю. Эта искра, хотя она и подвержена изменениям, существует сама по себе. Опыт не дает никаких условий для того критика знания, который действует трансцендентально, то есть исходя из самого опыта. Следовательно, утверждать, что в опыте предполагается Я или субъект, который, должно быть, даже породил опыт своим абсолютным fiat, (значит, как это ни странно, пренебречь критическим мышлением и отступить от трансцендентального метода. Все творцы трансцендентальных систем на самом деле заблуждаются в том самом принципе, на основе которого они критикуют догматизм, в том принципе, который не признает никаких систем, не терпит никаких верований, и ежеминутно превращает мир в абсолютный опыт, который утверждает его здесь и теперь.

Этот отход трансцендентализма от своих принципов, когда он забывается до такой степени, что диктует условия опыту, не имел бы серьезных последствий, если бы трансцендентализм был признан просто романтическим эпизодом при размышлении, своего рода поэтическим безумием, а отнюдь не необходимым шагом в жизни разума. То, что провозглашаемый им скептицизм вскоре же оборачивается мифологией, по-видимому, характерно для этого заболевания духа. Но эта иллюзия создает опасность для глубокого критика знания, если она склоняет его к представлению, что, утверждая, будто опыт (результат, производное двух факторов, он характеризует внутреннюю природу опыта, а не исключительно его внешние условия, как об этом повествуется в естественной истории. Далее он может поддаться соблазну придать метафизический статус и логическую необходимость чисто эмпирическому факту. Он будет полагать, что обнаруживается абсолютное его, а не тело, которое является действительным "объектом"; и далее, чтобы представить вещи еще более простыми, он может объявить, что это не два фактора, а один, однако все это миф. Итак, факт опыта един, и с точки зрения этого факта абсолютно безусловен и беспричинен, его невозможно объяснить и от него невозможно избавиться никакими заклинаниями. Как он явился названным, так же его очертания могут сами по себе постепенно начать расплываться и исчезать. Это, похоже, случается с ним постоянно; моя опора на существование не настолько тверда, чтобы несуществование не казалось всегда имеющимся в наличии, не казалось всегда чем-то более глубоким, значительным и естественным, чем существование. Однако это восприятие неотвратимого несуществования (восприятие, которое само по себе является существующим фактом, (нельзя считать проникающим в реальное ничто, развернувшееся вокруг меня, пока я не утверждаю нечто вообще не связанное с наличным бытием, нечто выделяющееся именно тем, что я сознаю и могу наблюдать движение моего существования, и то, что оно действительно перешло из одного состояния в другое, поскольку я осознаю, что этот переход произошел.

Таким образом, чувство сложной напряженности существования, убеждение, что я существую и что я мыслю, предполагает ощущение изменения, по крайней мере возможного. Я не должен был говорить ни о сложности, ни о напряженности, если бы, как мне кажется, разнообразные, противоположно направленные движения к неданному не претендовали на осуществление. Двери вот-вот откроются, шнурки (порвутся, невзгоды (обрушатся, пульсации (повторятся. Течение и перспективы бытия представляются внутри меня открытыми моей собственной интуиции.

Здесь требуется осторожность. Все это может оказаться только наваждением, не обладающим ни провидческой, ни исторической истиной, и ведущим меня, если быть

честным, не дальше простой констатации того, что я чувствую. Все данное в опыте, по определению, является явлением и не чем иным, как явлением. Разумеется, если бы я был радикальным скептиком, я мог бы ставить под сомнение существование всего остального, так что это явление выступало бы в моей философии как единственная реальность. Но в таком случае я не должен ни преувеличивать, ни интерпретировать, ни гипостазировать его: я должен сохранять его как представление, чем оно и является, и вернуться к солипсизму наличного момента.

Одно дело (ощущение, что нечто происходит, (интуиция, которая обнаруживает то, что она обнаруживает, которую невозможно заставить обнаружить что-нибудь еще. Другое дело (вера в то, что то, что обнаружено, является таким сообщением или отражением происшедших событий, что ранние стадии сознаваемого мною потока изменений существовали прежде последующих стадий и помимо них. В то время как теперь в моей интуиции предыдущие стадии являются только первой частью данного целого, существуют исключительно совместно с последующими стадиями, и являются предыдущими только в перспективе, а не в потоке следующих друг за другом событий. Если бы что-либо имело действительное начало, то эта первая стадия должна была бы наступить вне всякого отношения к последующим стадиям, которые еще не наступили и обнаружатся только в дальнейшем. Так, Ветхий Завет, если он действительно предшествует Новому Завету, должен был бы существовать сперва один, когда его не могли называть Ветхим Заветом. Если бы он существовал только как часть христианской Библии в той перспективе, в которой он представляется и обозначается как Ветхий Завет, тогда он был бы Ветхим Заветом только по видимости, только для христианской интуиции, тогда как все откровение было бы на самом деле одновременным. Словом, кажущееся изменение не является действительным изменением. Единство апперцепции, которое порождает ощущение изменения, представляет изменение как кажущееся, связывая воедино условия и направление изменения в единой перспективе, как соответственно уходящее, текущее и наступающее. Объединяя и рассматривая эти условия таким образом, интуиция изменения исключает в данном объекте действительное изменение. Если бы изменение было действительным, оно должно было предшествовать интуиции этого изменения и не зависеть от нее.

Бесспорно, фактически сама эта интуиция изменения исчезает и уступает свое место в физическом времени пустоте или интуиции неизменности; это исчезновение интуиции в физическом времени является действительным изменением. Однако очевидно, что это изменение не доступно восприятию, поскольку ни пустота, ни интуиция неизменности не могут его обнаружить. Оно обнаруживается, если вообще обнаруживается, дальнейшей интуицией кажущегося изменения, представленного как сообщение. Действительное изменение, если оно вообще может быть познано, должно познаваться посредством верования, а не интуиции. Соответственно, всегда возможны сомнения в существовании действительного изменения. Отказавшись от веры в природу, я не должен сохранять даже слабую веру в опыт. Эта интуиция изменения может быть ошибочной; возможно, это единственный факт во вселенной, и совершенно неизменный. Тогда этой интуицией должен был бы стать Я, но она не принесет мне истинного знания о чем бы то ни было действительном. Напротив, эта интуиция была бы иллюзорной, представляя мне ложный объект, поскольку она представляла бы не что иное, как изменение, в то время как единственная наличная реальность (ее собственная (неизменна. С другой стороны, если эта интуиция изменения не иллюзорна, а изменения действительно происходили и вселенная пришла к своему нынешнему состоянию от предыдущего, отличного от него (если, например, сама эта интуиция изменения стала более отчетливой и сложной), я буду вправе рискнуть и выдвинуть очень смелое утверждение: я знаю, что то, что существует сейчас, не всегда было, что есть вещи, которые мне не даны, что в природе имеет место возникновение и что время реально.

СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ИЗМЕНЕНИЯ

Когда я наблюдаю чувственный объект, свидетельства его изменения зачастую неопровержимы: флаг развевается на ветру и пляшет пламя костра. Как могу я отрицать, что почти все в природе и воображении, подобно призраку в Гамлете, находится то здесь, то там, то исчезает? Разумеется, я наблюдаю это появление и исчезновение. Интуиция изменения является более непосредственной и настоящей, чем любая другая. Но вера в изменение, как я только что обнаружил, утверждает, что до того, как появилась интуиция изменения, первый этап этого изменения осуществился самостоятельно. Этого не может доказать никакая интуиция изменения. В восприятии животных верований неоспоримо согласно причинам, которые может убедительно устанавливать биология, и в действительном мышлении от нее невозможно надолго отказаться, но в интересах радикального скептицизма от нее можно теоретически отвлечься на некоторое время. Критицизм также может казаться убедительным, действительно, многие серьезные и даже глубокие философы утверждали, что это неоспоримое утверждение ложно, что все многообразие и изменение (иллюзия. Отрицая время, множество и движение, их теории возвращали почти что к младенчеству мысли, ориентировали в обратном направлении (что ни в коем случае не демонстрировало искусство сосредоточения (всю жизнь разума. Этот мистический отказ от всех верований, необходимых в жизни, на грани прекращения жизни вообще, иногда поддерживался диалектическими аргументами, будто движение невозможно, так как идея движения непоследовательна или противоречива. Однако подобные аргументы не имеют никакого значения для критика знания, поскольку порождают допущения еще более грубые, чем те, которые они хотят опровергнуть. Они предполагают, что если вещь диалектически непостижима, как движение, или невыразима в терминах, иных, чем она сама, тогда она не может быть истинной. В то время как, напротив, только тогда, когда диалектика выходит за свои собственные пределы и, получив мандат опыта, вступает в царство грубых фактов, она сама сможет претендовать на истину и значимость по отношению к фактам. Следовательно, диалектические трудности не имеют отношения к действительному знанию, термины которого иррациональны не в меньшей степени, чем их сочетание в действительности. Отрицание изменения может иметь более глубокий и трагический характер и основания, которым еще в большей мере присущ скептицизм. Оно может проистекать из понимания, что утверждать изменение безрассудно. Почему в самом деле люди верят, в изменение? Потому что они его видят и ощущают, но этого никто не отрицает. Они могут видеть и воспринимать какие угодно изменения, но какие основания дает это для верования, что вне и независимо от этой действительной интуиции с теми кажущимися изменениями, которые она созерцает, одно состояние мира уступает место другому, либо же существовали разные интуиции? Вы чувствуете, что вы изменились; вы чувствуете, что меняются вещи? Допустим. Поможет ли вам этот факт ощущать исходное состояние, которое вы не ощущаете и которое не является составной частью того, что сейчас перед вами, а тем состоянием, из которого, как предполагается, вы пришли к тому состоянию, в котором вы сейчас находитесь? Если вы ощущаете сейчас это исходное состояние, то изменения (нет. Этот датум⁷, который вы теперь обозначаете как прошлое и который существует только в этой перспективе, является всего лишь элементом вашего нынешнего восприятия. Он никогда не был чем-либо иным. Он никогда не был дан иначе, чем он дан сейчас, когда он дан как прошлое. Следовательно, если вещи только таковы, какими их делает интуиция, любое предположение относительно прошлого ложно. Ибо если событие, которое мы сейчас обозначаем как прошлое, когда-то было действительным и наличным событием для своего времени, тогда это просто термин кажущегося изменения, представленного в интуиции. Таким образом, восприятие движения, на которое мы полагаемся с таким доверием, не может дать гарантии реальности движения, то есть существования реального прошлого, когда-то бывшего настоящим, не тождественного кажущемуся прошлому, находящемуся в сфере интуиции. По иронии судьбы, чем большей вы настаиваете на восприятии изменения, тем в большей мере вы ограничиваете себя сферой неизменного и непосредственного. Нет иной дороги в прошлое

или будущее, как посредством веры в интеллект и в реальность невидимых вещей. Я думаю, что если бы ощущение изменения, изначального и непрерывного, было действительно чистым, тот факт, что в себе оно неизменно, не показался бы нелепым и приводящим в замешательство; очевидно, что идея чистого изменения была бы всегда одинаковой и неизменной; она могла бы измениться, только уступая идее покоя или тождественности. Однако у животных, сопоставимых по сложности с человеком, восприятие изменения никогда не является чистым. Большие периоды осознаются и воспринимаются как постоянные, а изменение рассматривается как протекающее в одном или в другом, не будучи всепроницающим, изменяющим картину в целом. Это проблемы животной чувствительности, которые должны решаться эмпирически (а это означает, что они вообще никогда не будут решены. Каждое новое животное может воспринимать по-новому. Для комара изначальным может быть ощущения потока, как у Гераклита. Только неуверенно и с сомнением он может задать себе вопрос, что это такое, что течет мимо него; а для ускононого рака начальным, как у Парменида, может стать ощущение неколебимого основания бытия, и он никогда не сможет вполне переместиться с этого прочного основания или поменять один способ сцепления на другой. Но в конце концов разум Гераклита, не усматривающий ничего, кроме течения, столь же постоянен, как разум Парменида, не видящего ничего, кроме покоя. Если бы философия Гераклита была единственной в мире, в мире философии не происходило бы никаких изменений.

Таким образом, когда я установил инстинктивное верование в действительность вне видимой картины, и в прошлое и будущее помимо кажущегося настоящего, исчезновение в самом этом кажущемся настоящем и чувственные события в нем полностью утратили реальность действительного движения. Они становятся картинами движений и идеями событий.

Похоже, я больше не живу в меняющемся мире, но иллюзия движения играет передо мной свою пустую роль и должна содержаться в моей неизменности. Эта видимость движения является таким же качеством бытия, как боль и (или) звучащая нота, а не переходом от одного качества к другому, поскольку часть, обозначаемая как предыдущее, дана с самого начала. События и связанная с ними реальность движения, похоже, всегда будут иллюзорны. В конечном счете скептик может достичь того видения реальности, из которого они должны быть исключены. Все, что ему нужно сделать, чтобы приобрести этот иммунитет от иллюзий, состоит в том, чтобы, подобно хирургу, удалить из собственной природы все рудименты страха, ни о чем не сожалеть, ничего не бояться, ни к чему не стремиться. Если он в состоянии сделать это, он избавится от веры в изменение.

Более того, животное влечение верить в изменение, возможно, не только ложно, но не всегда проявляет себя. Я могу быть живым, действительно изменяться, но это изменение во мне, не теряя свою силу, может не ощущаться. Можно предположить, что очень быстрые изменения, разделяющие существование на дискретные моменты, внутреннее состояние которых не переходит от одного к другому, не отражаются в памяти. Тут не будет никакой интуиции изменения, и, следовательно, никакой веры в него. Для того чтобы ощутить течение, требуется определенная действительная длительность, и течение в абсолютном значении, в котором ничто не передается от одного момента к другому, не оставило бы в каждом из этих моментов ничего, кроме интуиции постоянства. Таким образом, действительная нестабильность вещей, даже если я допускаю ее, так же далека от восприятия ее, как и от того, чтобы исключить восприятие ее противоположности. Следовательно, я могу от случая к случаю отрицать ее, но ничто при этом не может меня убедить, что моя интуиция в этом случае не более истинна, чем тогда, когда я воспринимаю и верю в изменение. Мистик должен признать, что большую часть своей жизни он проводит в долинах, полных иллюзий, однако вместе с тем он может утверждать, что истина и реальность открываются ему на почти недоступных вершинах гор, где только и можно увидеть Единое и Неизменное. То, что верящий в природу рассматривает само это убеждение мистика как природное явление, как рискованную, хрупкую иллюзию, не влияет на это убеждение, пока оно длится, и не помогает освободиться от него; подчиняясь ему, мистик может отвергать любое изменение и

множество либо просто забывая о них, либо доказывая, что они мнимы и невозможны. Не имея иррациональных ожиданий (а любое ожидание иррационально) и не доверяя памяти (а память (своего рода обращенное ожидание), он совершенно лишен той сообразительности, которая позволяет животным верить в скрытые вещи и скрытые субстанции, на которые в конечном итоге они могут воздействовать; поскольку его диалектику не опровергают никакие толчки опыта, он будет всей душой убежден, что изменение немислимо. Ибо если явления совершенно дискретны и лишены какой бы то ни было непрерывной субстанции или среды, они не следуют одно за другим, а каждое существует как таковое независимо от других. Если же была бы постулирована некая субстанция или среда, то невозможно было бы представить никакого отношения между субстанцией и явлениями, о которых можно было бы сказать, что они разнообразят субстанцию, ибо ничего не случается и не изменяется, если субстанция, среда пронизывает все явления; если же события действительно происходят, а не представляют собой чисто кажущиеся изменения, данные в одной интуиции, тогда они совершенно дискретны и не имеют никакой опоры в среде или субстанции, которые были напрасно постулированы, для того чтобы они ее получили. Таким образом, мистик на крыльях свободной диалектики вернется к своим древним успокоительным убеждениям, что все есть Одно, что Бытие (есть, а Небытия (нет.

Глава VI

ПРЕДЕЛЬНЫЙ СКЕПТИЦИЗМ

Почему мистик в той мере, в какой он отвергает разнообразие опыта как простую иллюзию, должен чувствовать, будто он сливается с реальностью и достигает абсолютного существования? Я думаю, что те же пережитки вульгарных предпосылок, которые позволяют романтическому солипсисту сохранять свое верование в индивидуальную судьбу и предназначение, позволяют мистика поддерживать ощущение существования и радостно сливаться с ним. Его спекуляции, безусловно, вдохновлены стремлением к безопасности. Его неприязнь к миру природы и смертной жизни основана главным образом на том, что они вводят в заблуждение, обманывают преданные им души, оказываются иллюзиями. Здесь, очевидно, предполагается, что реальность должна быть неизменной, а тот, кто придерживается реальности, всегда пребывает в безопасности. В этом мистик, ненавидящий иллюзии, сам является жертвой иллюзии, ибо реальность, которой он придерживается, связана с отдельным моментом, который в своем солипсизме считает себя абсолютным. Что такое реальность? В соответствии с тем, как я употребляю этот термин, реальность (это существование любого вида. Если под реальностью понимают природу или сущность, иллюзии обладают ею в такой же степени, как субстанции, и даже в большей. Если реальность равнозначна субстанции, то скептическое сосредоточение на внутреннем опыте, экстатическое погружение мысли представляется мне последним местом, где нам следует ее искать. Непосредственное и воображаемое являются прямой противоположностью субстанции; они расположены на поверхности или, если угодно, на вершине, в то время как субстанция, если она вообще существует, расположена внизу. Сфера непосредственной иллюзии столь же реальна, как любая другая, и крайне притягательна; многие хотели бы, чтобы она была единственной реальностью, и испытывают отвращение к субстанции; но если субстанция существует (чего пока что я не готов утверждать), у них нет оснований ненавидеть ее, поскольку она является основой тех непосредственных чувств, которые доставляют им удовлетворение. Наконец, если реальность означает существование, тогда, конечно, мистик и его медитации могут существовать, но их существование не более истинно, чем существование любого другого факта природы. То, что существовало бы в них, было бы импульсом живого существа, возбуждающем мгновенное иступление, какое обычно проявляет животная жизнь в определенном состоянии. Предмет этой медитации, ее воображаемый объект, вообще не обязательно должен существовать; он может оказаться неспособным к существованию, если он по своей природе является вневременным и диалектическим. Животная душа относится к своим данным как к фактам или как к знакам

факта, но она полна скоропалительных предположений, постулируя время, изменение, определенное положение среди событий, тем что устанавливает определенную перспективу для этих событий, и течение природных процессов, конденсирующих опыт именно в этой точке. Ни один из этих постулированных объектов не является датумом, на который может опереться скептик. В самом деле, существование и факт в том смысле, который я придаю этим словам, вообще не могут быть датумом, поскольку существование предполагает внешние отношения и действительное (а не просто кажущееся) изменение: каким бы сложным ни был датум, какие бы перспективы ни открывались в нем, он должен схватываться в едином акте апперцепции, и ничто внешнее не должно в него входить. Датум является лишь образом; по своей природе он иллюзорен и не субстанциален, как бы громко ни заявлял он о себе, какими бы отчетливыми ни были его контуры, каким бы привычным и значимым ни было его присутствие. Когда мистик с энтузиазмом утверждает существование своего непосредственного, идеального, невыразимого объекта (Абсолютного Бытия, его вера в наибольшей мере достойна сожаления: невозможно подыскать образ, менее уместный для обозначения тех средств, которые представляют ему этот образ. Плотность и красочность осознаваемого им существования имеют своим источником исключительно его самого. Его объект совершенно пуст, бессилён, лишен существования, но жар и труд его собственной души наполняют эту пустоту светом, а звуки его внутренних движений, ускоренных почти до пределов возможного и почти не различимых, создают пронзительную мелодию.

Теперь мне предстоит сделать последний шаг в сторону скептицизма. Он приведет меня к отрицанию существования для любого датума, чем бы он ни был; поскольку датум, согласно предположению, представляет собой совокупность всего, что привлекает мое внимание в какой-либо момент, я буду отрицать существование всего и вообще откажусь от этой категории мысли. Если бы я этого не сделал, я оказался бы в скептицизме дилетантом. Вера в существование чего угодно, включая меня самого, никоим образом не может быть обоснована и подобно всем прочим верованиям покоится на каком-нибудь иррациональном внушении или побуждении жизни. Разумеется, на самом деле, когда я отрицаю существование, я существую. Но ведь и многие другие факты, которые я отрицаю, поскольку я не обнаружил для них свидетельств, также были истинны. Ни сами факты, ни их природа не обязаны предоставлять мне свидетельства своего существования: я должен обратиться к услугам частных детективов. На этом уровне критицизма задача состоит в том, чтобы отбросить любую веру, которая является просто верой, а вера в существование, по сути дела, может быть только верованием. Датум (это идея, это описание; я могу созерцать его, не веря ни во что; но когда я утверждаю, что такого рода явление существует, я гипостазирую этот датум, помещаю его в предполагаемые условия, которые ему не присущи, и поклоняюсь ему как идолу, как вещи. Ни его существование, ни мое существование, ни существование моего верования не может быть дано ни в каком датуме. Эти явления представляют собой случайные события в порядке природы, который я отверг, они не являются частью того, что осталось передо мной.

Уверенность в существовании выражает настороженность животных: она утверждает во мне и вокруг меня наличие скрытых надвигающихся событий. Скептик легко может усомниться в отдаленных объектах этой веры, и ничто, кроме определенной косности и недостатка воображения, не мешает ему усомниться в самом наличном существовании. Ибо что могло бы означать наличное существование, если бы никакие предстоящие события, за которыми следят чувства животных, вообще не происходили бы, не было бы ничего у, так сказать, самых корней дерева интуиции и не осталось бы ничего кроме ветвей, цветущих *in vacuo*? Безусловно, самым рискованным из верований является ожидание; но что такое настороженность, как не ожидание? Общеизвестно, что память полна иллюзий; но чем был бы опыт настоящего, если бы отрицалась достоверность памяти как первоосновы, если бы я больше не верил, что что-то произошло, что я когда-то находился в том состоянии, из которого, как мне кажется, пришел к моему нынешнему?

Я не дам скептику найти убежище в туманной идее, будто ожидание обладает будущим, а память (прошлым. Собственно говоря, ожидание подобно голоду: оно раскрывает рот, и тогда в него очень часто может упасть нечто ожидавшееся, иногда что-то неожиданное, а иногда вовсе ничего. Жизнь сопряжена с ожиданием, но она не исключает смерти: ожидание по-настоящему обманывает не тогда, когда вместо того чтобы открыть ему глаза, его сводят на нет. Тогда распахнутый рот как никогда близок к ничто. Он и уходит в небытие разверстым. Не в лучшем положении и память. Подобно тому как мир может в любой момент низвергнуться и перестать существовать, сводя на нет все ожидания, так же в любой момент он может возникнуть из ничего, ибо он совершенно случаен, и он мог бы появиться сегодня, обладая той же степенью сложности иллюзорной памяти, какие были присущи ему давным-давно, и той же энергией и количеством движения, которое он получил изначально. Обратная перспектива во времени, по-видимому, и в самом деле столь же реальна, как обращенное в прошлое ожидание; однако в силу инерции движения вперед мы не можем поставить элементы, активные в настоящем, в такое положение, чтобы приписать им историю, продолжительную или недолгую, поскольку мы не должны пытаться разделить эти элементы на те, с которыми нам придется считаться в ближайшем будущем, и те, которые мы можем игнорировать без какого-либо риска. Таким образом, наше представления о прошлом, по-видимому, предполагает разграничение между живым и мертвым. Само по себе это разграничение является практическим и обращено в будущее. В абсолютно настоящем все является кажущимся, и для чистой интуиции живое столь же призрачно, как и мертвое, а мертвое столь же насущно, как и живое.

Соответственно в ощущении существования содержится нечто большее, чем очевидный характер того, что провозглашается существующим. В чем состоит это дополнение? Оно не может быть свойством датума, поскольку датум, по определению, является тем, что обнаруживается в целом. Оно также не может быть, по крайней мере в том смысле, какой я связываю со словом существование, внутренним строением или характерным бытием этого объекта, поскольку существование выражается во внешних отношениях, подвержено изменениям, случайно и не может быть обнаружено в данном, отдельно взятом бытии, ибо там нет ничего, что не могло бы перестать существовать, и ничего такого, существования чего нельзя было бы мысленно отрицать. По-видимому, дополнение к датуму, если допустить его существование, делается мной (это обнаружение события, атака, воздействие этого бытия здесь и теперь. Это мой опыт. Но что может остаться от опыта, если я удалю из него все то целое, которое я воспринимаю? И какое значение я могу придать таким словам, как воздействие, атака, случай, обнаружение, когда я отверг и устранил свое тело, свое прошлое, оставшееся мне настоящее (все, кроме обнаруживаемого мной датума? Чувство существования явно представляет собой упоение, Rausch⁹ самим существованием; это напряженность жизни во мне, предшествующая любой интуиции, которая с присущей ей быстротой и страхом, непрерывно, как и должно быть, переходя от одного невыносимого условия к другому, бессмысленно обращая мое внимание на то, что не дано, на то, что утрачено или недостижимо, на покрытые мраком прошлое и будущее, и препятствует тому, чтобы я с трепетом воспринимал ясное настоящее всего того, что я вообще могу правильно воспринимать.

Конечно, поскольку я (порождение движения и непрерывного метаболизма материи, я не был бы в состоянии улавливать даже эти проблески света, если бы не было ритмов, шумов, пауз, повторов и пересечений в моем физическом движении, чтобы улавливать и отражать их то тут, то там; подобно путешественнику, который пролетая по пути на Итальянскую Ривьеру в облаке дыма и пыли сквозь туннель за туннелем, ловит на лету и тут же теряет мимолетные образы голубого моря и неба, которые он и хотел бы, но не может задержать; однако, если бы он не пронесся со свистом сквозь эти туннели, он не имел бы даже этих мгновенных кадров в той форме, в какой он воспринимает их. Так и стремительный поток жизни в ее незавершенные моменты переполняет меня интуициями, фрагментарными и смутными, но тем не менее несущими откровение; мой ландшафт окутан дымом моего

маленького локомотива и превращается в мучительный эпизод моего напряженного путешествия. То, что появляется (это идеальный объект, а не событие), таким образом, смешивается с событием своего появления; картина отождествляется с тем возбуждением, даже потрясением моего внимания, случайно обратившегося к ней; напряженность моего материального существования, преодоление материальных превратностей также превращает идеальный объект в преходящий факт, заставляет его казаться субстанциальным. Но это недолговечное существование, которое я самонадеянно присоединяю к нему, как будто его судьба зависела от моих мимолетных взглядов на него, не составляет его подлинного бытия, что различает даже моя интуиция. Оно состоит в практическом достоинстве и могуществе, которое оно получает от чуждого ему импульса моей животной жизни. Животных, которые от природы являются гонимыми и голодными существами, интересуют и тревожат всевозможные датумы ощущения и воображения, подразумевающие, что за ними стоит нечто субстанциальное, нечто действенное и имеющее значение в мире. Ими имплицитно привносится идея движущегося мира; они извлекают ее из глубин свой растительной Психеи, представляющей собой ограниченный темный космос, незаметно обращающийся внутри. Когда на него обращают внимание и рассматривают как сигнал неизвестного материального события или опасности, этот образ включается в сферу деятельности и принимает внешний вид существования. Если убрать этот каркас, избавиться от всех намеков на время, когда этот образ еще не возник или когда он уже будет в прошлом, исчезнет сама идея существования. Датум перестает быть явлением в подлинном и содержательном смысле этого слова, поскольку он более не подразумевает какую-либо являющуюся субстанцию или какой-либо интеллект, которому он является. Датум остается явлением только в том смысле, что его природа совершенно открыта, что это (конкретное бытие, которое можно обозначить, помыслить, увидеть, определить, если у кого-то хватит разума. Но его собственная природа ничего не говорит ни о скрытых условиях, которые вводят его на свет, ни о каком-либо случайном наблюдателе, который обнаружит его. Он остается исключительно в пределах своей определенности (category). Если это цвет, то именно этот цвет, если это боль, то именно эта боль. Их явление не есть событие, и наличие не является переживанием, поскольку нет окружающего мира, в котором они могли бы появиться, нет наблюдающего духа, чтобы воспринять их. Скептик в этом случае замыкается в интуиции поверхностной формы, не имеющей ни корней, ни начала, ни окружения, ни положения, ни места сосредоточения; маленькая вселенная, нематериальное абсолютное содержание, остающееся в самом себе. Это содержание, которое просто получает наслаждение от присущего ему качества, лишённое каких бы то ни было внешних связей, не подвергающееся никакой опасности перестать быть тем, что оно есть, ему не присущи ни случайности, ни перспективы, свойственные существованию; оно есть то, что оно есть по своей природе, логически и неизменно.

Существование, таким образом, не будучи включено непосредственно в датум, является фактом, который всегда открыт сомнению. Несмотря на это, я называю его фактом, поскольку, говоря о скептике, я тем самым утверждаю его существование. Если он обладает какой-то интуицией, как бы мало общего ни имело содержание этой интуиции с каким бы то ни было действительным миром, безусловно, я, думая об этой интуиции (или он сам, думая о ней уже *post factum*), понимаю, что эта его интуиция является событием, а его существование в это время (фактом; подобно всем прочим фактам и событиям, это событие и факт могут быть постигнуты только путем утверждения, которое постулирует его, которое может быть отменено или изменено и которое может оказаться ошибочным. Следовательно, скептик вправе сомневаться во всех этих актах интуиции. Таким образом, существование его собственного сомнения (с какой бы уверенностью я ни говорил ему о нем) не есть для него нечто данное. Данностью является только некоторая двусмысленность или противоречие в представлениях. И если впоследствии он уверен, что сомневался, единственное надежное свидетельство, на которое может претендовать этот факт, заключено в психологической невозможности того, чтобы он не верил этому, поскольку он уверен в том, что он

сомневался. Но он может ошибаться, придерживаясь этой веры, и поэтому может объявить ее недействительной. Ибо, таким образом, все, что может наблюдать радикальный скептицизм, может оказаться вообще не фактом, да к тому же вообще возможно, что ничего и никогда не существовало.

Скептицизм, следовательно, можно довести до отрицания изменения и памяти и реальности всех фактов. Эта скептическая догма, разумеется, была бы ошибочной, поскольку необходимо было бы поддерживать саму эту догму, тогда это событием было бы фактом и существованием. Формулируя эту догму, скептик рассуждает, колеблется, противопоставляет одни утверждения другим (так что все это должно существовать в полном смысле этого слова. Вместе с тем эта ошибочная догма, будто ничего не существует, интуитивно состоятельна, и если она берет верх, она неопровержима. Есть определенные причины (речь о них пойдет ниже), которые делают радикальный скептицизм ценной находкой для ума, как убежище от более вульгарных иллюзий.

Для непоследовательного скептика, который считает радикальный скептицизм не более истинным, чем любую другую точку зрения, он в известной мере выгоден. Он приучает его отказываться от догмы, считать которую самоочевидной, возможно, склонен интроспективный критик, а именно что он живет и думает. То, что он так и делает (истина, но для того чтобы обосновать ее, он должен апеллировать к животной вере. Если же он чересчур горд, чтобы снизойти до этого, и просто ограничивается созерцанием датум, последнее, что он увидит, будет он сам.

Глава VII

НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИЧЕГО ДАННОГО

Скептицизм (это не сон, и подвергая сомнению любую веру, доказывая нелепость любой идеи, скептик ни в коем случае не теряет смысла того, что он предложил. Он просто сомневается или отрицает существование любого подобного объекта. В скептицизме, таким образом, все сфокусировано в значении термина существование, поэтому имеет смысл задержаться здесь, чтобы рассмотреть его более подробно.

Я уже отмечал в общих чертах, в каком смысле я употребляю слово существование, а именно для обозначения такого бытия, которое все время меняется, определяется внешними отношениями, испытывает нажим случайных обстоятельств. Безусловно, это не определение. Термин существование (всего лишь имя. Используя его, я просто указываю читателю, словно жестом, что обозначает это слово в моем речевом обиходе; это подобно тому, как, произнося имя Цезарь, я указываю на свою собаку, чтобы кто-нибудь не подумал, будто я имею в виду римского императора. Римский император, собака, звучание имени Цезарь (все они неопределимы, их можно описать индивидуально, используя другие указательные и неопределимые имена, чтобы отметить их характерные признаки или события, в которых они участвовали. Таким вот образом я могу более подробно описать все то царство бытия, на которое я указываю, когда употребляю термин существование. Его описание составляет предмет физики и, пожалуй, психологии, но исследование этого царства, открытого только для животной веры, не интересует скептика.

Скептик отворачивается от этих неопределенных, переплетенных друг с другом объектов и обращается к непосредственному (к датуму. Возможно, на какой-то миг он способен вообразить, что здесь он обнаружил подлинное существование. Но если это добросовестный скептик, он вскоре расстанется с этой иллюзией. Конечно, в сфере непосредственного он обнаружит свободу от столкновений одного утверждения с другим. Там нет ни протоколов, ни гипотез, ни призрачных копий очевидного, ни призрачной угрозы не-данного. Не является ли очевидное, может спросить скептик, подлинно существующим? Но очевидное (это только являющееся в обоих значениях этого двусмысленного слова. Датум (являющееся в смысле самоочевидности и понятности, кроме того это являющееся в смысле просто появляющегося и несубстанциального. В этом последнем смысле являющееся грозит обернуться несуществующим. Разве существующее не претендует на то, чтобы быть чем-то

б?льшим, чем являющееся, быть не столько самоочевидным, сколько тем, чему я ищу доказательств в смысле свидетельств? В таком случае не будет ли существующее (которое со своей собственной точки зрения, то есть физически, нечто большее, чем являющееся) в познавательном отношении и с моей точки зрения, напротив, чем-то меньшим, чем являющееся? Разве не нуждается оно в свидетельствах для доказательства своего бытия? Что может поручиться за эти свидетельства, кроме их собственной убедительности? Я не смогу убедить ни одного скептика, если от существования, о котором делается сообщение, я немедленно обращаю все мое доверие на являющееся, которое о нем сообщает, и свидетельства собственных чувств предпочту показаниям адвокатов. Я забуду дела об убийствах и запутанные казусы в суде и буду рассматривать судью в пурпуре и горностае, с бледными чертами старой лисы под серым париком, флегматичных присяжных, запинаящегося свидетеля, адвоката, официально высокомерного, не вдумывающегося в механически произносимые им слова и, позевывая, шепчущего в сторону что-то действительно интересующее его, и посматривающего на часы, не пришло ли время обеда, неясный свет, косо падающий на всю сцену из высоких окон. Не эта ли изменчивая картина, воспринимаемая мною как бы в трансе, трансе наяву, является подлинной реальностью, а весь мир существования и дела (всего лишь нескончаемым повествованием, которое поддерживается этим трансом?)

Теория, что мир есть не что иное, как поток явлений, убедительна для скептика; он полагает, что в этом веровании не слишком много верования. Но то, что здесь остается от догмы, весьма знаменательно, и перед ним немедленно встает вопрос, какое количество явлений он будет признавать существующими, какого именно вида, на каком порядке их появления он будет настаивать, если вообще будет его утверждать, и различные гипотезы, которые могут быть предположены относительно природы и распределения явлений, станут новыми предметами для его размышлений, и он обнаружит, что невозможно прийти к выводу, существует ли какое-либо из явлений, за исключением того, которое предстоит ему в данный момент, на самом деле, существует ли актуально какая-либо из предполагаемых систем явлений. Таким образом, перед ним вновь замаячит (как нечто проблематичное (существование на отдалении от той непосредственности, в которой он надеялся найти прибежище.

Существование, таким образом, похоже, вновь утверждает себя в мире явлений, поскольку они рассматриваются как факты или события, происходящие одно наряду с другими или одно вслед за другим. Каждый датум, взятый отдельно, не дает оснований говорить о существовании. Датум представляет собой очевидное явление: что бы тут ни явилось, будет буквально и полностью очевидным, и сам тот факт, что оно явилось (что здесь является единственным фактом), вообще не проявится в нем. Этот факт, то есть существование интуиции, не будет утверждаться, пока явление не перестанет быть действительным и не будет рассматриваться со стороны как нечто, что, как можно предполагать, или произошло, или произойдет, или где-то происходит. В этой внешней оценке может содержаться либо истина, либо ошибка; но они не могут содержаться в самом явлении как таковом, поскольку в себе и как целое каждое является чистым явлением и не свидетельствует о чем-либо ином. Тем не менее, когда некий элемент данного явления рассматривается как знак некоторого другого явления, которое сейчас не дано, вполне уместен вопрос о существовании этого другого явления. Таким образом, существование и несуществование, по-видимому, имеют отношение к явлениям в той мере, в какой они вызывают сомнение и постулируются извне, а не в той, в какой они определены и даны.

Отсюда следует важный вывод, который первоначально представляется парадоксом, но который затем обосновывается рефлексией, а именно утверждение, что датум существует, бессмысленно, а если настаивать на нем, ложно. Что действительно существует, так это факт, что датум наличествует в этот определенный момент критического состояния вселенной; наличествующим фактом является интуиция, а не датум; и этот факт, если он вообще известен, должен утверждаться в какой-то другой момент заключающей в себе риск

верой, которая может оказаться истинной или ложной. Напротив, к тому, что является определенным и данным, не может применяться предикат существования; до тех пор, пока оно не может быть ни ложным, ни истинным.

Для меня здесь очевидно, каким непоследовательным является скептицизм тех современных философов, которые сочли, что существовать (значит быть идеей разума или объектом сознания, или фактом опыта, если под этими выражениями не имеется в виду ничего другого, как быть датумом или интуицией. Если нечто можно считать существующим, то наличие сознания не является ни необходимым, ни достаточным для того чтобы это нечто получило существование. Представьте себе писателя, который всю жизнь посвятил сочинению романа, или божество, единственное дело которого состояло в обдумывании мира. Этот мир существовал бы не в большей степени, чем роман заключал бы в себе переживания и поступки подлинных людей. Если этот писатель в пылу воображения поверил бы в реальность своих персонажей, он стал бы этим божеством, если бы оно сочло, что его мир существует только потому, что оно о нем думает. До того как результат творчества мог бы стать реальностью или роман (историей, он должен бы был произойти где-то вне разума его творца. А если это таким образом произошло, явно было бы недостаточно, чтобы творческая личность, ошибочно считающая себя его автором, создала его образ в своем уме; и если бы автор смог сделать это, такое замечательное ясновидение было бы фактом, требующим объяснения, но и тогда это было бы дополнительным фактом гармонии в природе, а не основанием для его существования.

Если в ходе аргументации я принимаю идею, что данность в интуиции является существованием, мне не стоит труда опровергнуть это посредством *reductio ad absurdum*. Если нечто, не данное в интуиции, не может существовать, тогда все убеждения в существовании фактов за пределами моей интуиции, посредством которых обогащается моя мысль, если она разумна, необходимо будут ложными, а весь разум (иллюзией. Этот вывод мог бы быть приемлемым для меня, если бы только не нежелание придерживаться мнений, которые предположительно могут оказаться ложными. Но следующий вывод смущает еще больше, а именно: все интуиции, в которых могут появляться такие иллюзии, сами не могут существовать. Ибо, будучи примерами интуиции, они не могли бы быть данными для других интуиций. В определенный момент я могу поверить, что есть или были, или будут другие моменты; но, очевидно, они явно не были бы другими моментами, если бы они были даны мне сейчас, и ничем сверх того. Если бы данность в интуиции была необходима для существования, не существовала бы сама интуиция, то есть никакая другая интуиция не могла бы постулировать ее, и поскольку это отсутствие трансцендентности было бы взаимным, не существовало бы вообще ничего. Однако если данность в интуиции была бы достаточной для существования, все упоминаемое существовало бы безоговорочно, а несуществующее вообще невозможно было бы помыслить, отрицать что-то (если бы я только знал, что я отрицаю) было бы невозможно, и не было бы таких вещей, как фантазии, галлюцинации, иллюзии и ошибки.

Я считаю необходимым пересмотреть словарь, который ведет к подобным двусмысленностям, и, если я вообще сохранию слова существование и интуиция, оставить им те значения, которые могут применяться только к тому, что возможно и правдоподобно. Поэтому я предлагаю использовать слово существование (в основном в полном соответствии с обычным его употреблением) не для обозначения данных интуиции, а для обозначения фактов или событий, которые, как мы полагаем, происходят в природе. Эти факты или события, во-первых, включает сами интуиции или такие явления сознания, как боль и наслаждение, образы пережитого в памяти, интеллектуальный дискурс. Во-вторых, физические предметы и события, обладающие трансцендентным отношением к данным интуиции, которые, согласно мнению, могут использоваться как знаки для них; то же самое трансцендентное отношение, которое объекты вожделения имеют к самому вожделению, или объекты цели к самой цели, например, такое отношение, какое факт моего рождения (которого я даже не помню) имеет к моему нынешнему убеждению в том, что я был когда-то

рожден, или событие моей смерти (которое я воспринимаю чисто абстрактно) к моему нынешнему ожиданию, что когда-нибудь я умру. Если ко мне явится ангел, я могу вразумительно рассуждать, существует он или нет. С другой стороны, я могу утверждать, что он вошел в дверь, то есть он существовал до того, как я увидел его, и могу продолжать утверждать в восприятии, памяти, теории, ожидании, что это был факт природы: в этом случае я верю в его существование. С другой стороны, я могу подозревать, что это было событие внутри меня самого, сон, то есть событие, не имеющее отношения к ангелу, когда я его видел, и не имеющее ничего общего с ангелом в условиях его существования. В этом случае я не верю своему видению; нельзя серьезно говорить, что являющиеся ангелы существуют, если я понимаю их как идею. GNG

Существования же, с точки зрения познания, являются установленными фактами и событиями, а не просто видимыми образами или обсуждаемыми темами. Соответственно существование не только сомнительно для скептика, но одиозно для логика. Последнему существование представляется воистину уродливым наростом и избыточностью в бытии, поскольку все существующее представляет собой нечто большее, чем его описание, так как существующее позволило присоединить к себе некую эмфазу, не постигаемую умом, то есть материализацию, бессмысленную с логической точки зрения и несообразную (с моральной). В то же самое время существование страдает от недостатка бытия и темноты: всякая идеальная природа, какой она может быть всесторонне дана в интуиции, будучи материализованной, теряет свою неосвязаемость и вечность, которые по праву принадлежат ей в ее собственной сфере; таким образом, существование дважды проявляет несправедливость по отношению к формам бытия, которые в нем воплощаются, сперва их насилуя, а затем предавая.

Таково существование, как оно усваивается верой и утверждается животным опытом; но в дальнейшем я покажу, что существование, рассмотренное с физической точки зрения, когда оно разворачивается среди других царств бытия, является соединением различных природ в случайных и непостоянных отношениях. Согласно этому определению очевидно, что существование никогда не может быть дано в интуиции, поскольку каким бы ни был сложный датум, какое бы множество видимых движений он ни изображал, его кажущийся порядок и единство являются именно тем, чем они являются; они не могут ни претерпевать изменений, ни образовывать новые отношения: это другой способ доказать, что они не могут существовать. Если бы весь развивающийся мир был дан только в идее, а не был внешним объектом, постулированным в веровании и действии, он не мог бы ни существовать, ни развиваться. Для того чтобы существовать, он должен сам проявлять себя последовательно и вне осознания приобретать все эти идеи в ходе своего движения.

Глава VIII

НЕКОТОРЫЕ АВТОРИТЕТНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЭТОГО ВЫВОДА

Точка зрения крайнего скептицизма, что ничто данное не существует, может быть подкреплена авторитетом многих известных философов, которых считают ортодоксальными; и поэтому имеет смысл здесь задержаться, чтобы заручиться поддержкой этих авторитетов, поскольку я не предполагаю, что тот скептицизм, который я отстаиваю, носит только предварительный характер; его обоснованные выводы останутся неизменными, постоянно напоминая мне, что все так называемые знания фактов являются одной лишь верой и что существующий мир, какую бы форму он ни принял, является по своей природе сомнительной и произвольной вещью. Верно, что многие из тех, кто защищал эту точку зрения, в той ее форме, что все явления представляют собой иллюзии, поступали так для того, чтобы еще более упорно настаивать на существовании чего-то скрытого, что они называют реальностью, но поскольку в существовании такого рода реальности усомниться гораздо проще, чем в существовании очевидного, я могу игнорировать эту уточняющую догму. Вскоре я представлю собственные уточняющие догмы, вызывающие, по моему

мнению, гораздо больше доверия, чем их догмы. Я буду приписывать существование течению природных событий, которые никогда не могут представлять собой данные интуиции, а являются всего лишь объектами веры, инстинктивно придерживаясь которой рискуют люди и животные, сами вовлеченные в это течение. Хотя скептик может сомневаться в любом существовании, которое не связано с несомненным датумом, я все же полагаю, что помимо непреодолимых импульсов могут быть найдены доводы здравого смысла, для того чтобы постулировать существование интуиций, которым предоставляются данные не в меньшей степени, чем существование других событий и вещей, которые фиксируются и описываются данными интуиций. Однако пока что я озабочен тем, чтобы глубже обосновать утверждение скептика, что, если мы отказываемся согнуться под ярмом животной веры, мы не можем обнаружить в чистой интуиции никакого свидетельства о каком бы то ни было существовании.

Есть только один догмат, которого придерживаются многие глубокие философы, а именно: будто все движение (иллюзия, которого самого по себе достаточно, чтобы исключить любое существование в том смысле, какой я придаю этому слову. Вместо изменения они, вероятно, постулируют неизменную субстанцию или чистое Бытие, но если бы субстанция не была субъектом изменений, по крайней мере в ее многоликости, она не была бы субстанцией чего бы то ни было обнаруживаемого в мире или происходящего в душе, следовательно у нее была бы не б?льшая основа в существовании, чем у чистого Бытия, которое, очевидно, представляет собой всего лишь логический термин. Чистое Бытие, поскольку речь идет о нем, несомненно, является истинным описанием всего как существующего, так и не-существующего, так что если нечто существует, чистое Бытие существует в нем, но оно будет существовать только как чистый цвет существует во всех цветах или чистое пространство (во всех пространствах, но не обособленно и не абстрактно. Эти философы, отрицая изменение, соответственно отрицают всякое существование. Хотя многие из них превозносят эту доктрину, лишь немногие последовали ей, пожалуй, даже никто, так что я могу обойти вниманием тот факт, что, отрицая изменение, они отрицают существование, даже существование субстанции и чистого Бытия, потому что произвольно они сохранили как существование, так и изменение. Реальность, которую они с таким пылом и убежденностью приписывали абсолютному, не соответствовала этой идее (одной из самых невыразительных из тех, какие только можно предположить (но, очевидно, она была обусловлено напряжением существования и движением внутри них самих и сильным гулом всеобщих метаморфоз, которые загипнотизировали их.

Искреннее и смелее всех настаивали на не-существовании всего данного индусы, она даже привели в соответствие с этим пониманием свой моральный порядок. Жизнь (это сон, говорят они, а все переживаемые события (иллюзии. Мы обманываемся, грезя о природе и о самих себе, даже воображая, что мы существуем, обманываемся и спим. Однако некоторые утверждают, что существует погруженный во всемирный сон Брахма, дремлющий, спящий, глубоко дышащий в каждом из нас, он (реальность наших снов, и отрицание их. Поскольку Брахма подчеркнута не ограничивается ни одной из форм иллюзорного существования, но упраздняет их все, для моей задачи нет необходимости проводить различие между ним и характерным состоянием освобожденных душ (в которое допускаются многие души), а также Нирваной, в которую впадают жизни, когда они, наконец, счастливо завершаются, осознав, будто ни они сами, ни что-либо иное никогда не существовало.

С моей стороны было бы опрометчивым, учитывая разрыв в языке и традициях между мной и индусами, предъявлять обвинение в противоречивости этой глубокой системы. Истина и реальность (это слова, которые в устах пророков обладают скорее риторической силой, а не силой научной мысли. Если лучше избегать назойливости существования и обрести прибежище надежного покоя и отдохновения в идее чистого Бытия, может быть, особенно уместно утверждение, что взгляд святых, у которых отсутствует память о проделанном до спасения пути, (истинный взгляд, а их состояние (единственная реальность; таким образом, это мы заблуждаемся, думая, что сейчас существуем.

Это эгоизм¹⁰ спасенных, к которому, признаться, я испытываю так же мало симпатии, как и к другим видам эгоизма. Блаженные, провозглашая, что я не существую в своих грехах, потому что они не могут отличить меня от них, как мне кажется, заблуждаются. Состояние блаженства, присущее им, не может превратить в истину небольшой, хотя и простительный просчет с их стороны. Я предполагаю или склонен представлять, что индусы имели в виду, что принцип моего существования и моего убеждения в том, что я существую, (порочный принцип. Грех, вина, страсть, безрассудная воля (естественные и общие источники иллюзий (составляют значительную часть того, что я здесь называю животной верой (animal faith); поскольку эта уверенность во мне (согласно индусам) неправильна с моральной точки зрения, поскольку только ее воздействие заставляет меня утверждать существование в себе или в чем-либо другом, если бы я исцелился морально, я перестал бы утверждать существование, и тогда на деле я перестал бы существовать.

В представленной таким образом доктрине заключается глубокое подтверждение моего тезиса, что ничто данное не существует, поскольку только этот неясный принцип, трансцендентальный по отношению к датуму (то есть находящийся по другую сторону рампы), вообще напоминает мне о датуме или заставляет меня утвердить его существование. Это мое несчастное Я, примостившееся в темноте, одно из сбившихся в кучу дураков, жадных и охочих до иллюзий, несет ответственность за этот спектакль; если бы дурацкий инстинкт не привел меня в здание театра, если бы алчные глаза и идеализирующее воображение не следили за представлением, никакая его часть не нанесла бы мне оскорбления; и если бы никто не пришел в театр, актеры вскоре исчезли бы подобно привидениям, поэту терпели бы голод, сцена обрушилась бы и превратилась в гору мусора, сами стены исчезли бы. Оказывается, что каждый элемент опыта (иллюзия, и источником этой иллюзии является моя животная природа, скрытно прокладывающая себе путь в невидимом мире.

Таков древний урок самого опыта, когда мы размышляем над опытом и превращаем его иллюзии в предписания, урок, который так и не могут усвоить эмпирики с куриными мозгами, хотя он повторяется ежедневно. Но индус с редкой чувствительностью соединил редкую память. Он жил: религиозная любовь, детская способность впитывать явления по мере того, как они появляются (чего не делают находящиеся в постоянном движении эмпирики), позволяет ему помнить их в их подлинности, во всей их красоте и, таким образом, понимать, что это были иллюзии. Поэт, беспристрастный философ, поклонник вещей в их чистоте освобождает себя от веры. Этот бесконечный хаос грубых и прекрасных форм, (восклицает он, (обманчиво, нереально, произвольно замещает ничто, и вскоре вновь погрузится в ничто и поистине будет представлять собой ничто.

Я буду игнорировать ту горячность, с которой эти праведные схоласты отвергают мир и грешную природу, которая привязывает меня к нему. Я люблю театр не потому, что не могу осознать, что спектакль (это вымысел, а потому, что я это осознаю; если бы я думал, что это действительность, я питал бы к нему отвращение; состояние беспокойства лишило бы меня всех воображаемых наслаждений. Но даже если это так, мне нередко хочется, чтобы зрелище было менее варварским; но я не раздражаюсь, потому что ни одна сцена не будет длиться вечно и, наверное, ее сменят тысячи других, свидетелем которых я уже не буду. Такова природа бесконечной комедии и опыта; но я хочу обратиться к драгоценному свидетельству индусов о не-существовании очевидного. Это свидетельство более ценно, потому что представленный их глазам спектакль был полон метафор; следовательно, его было труднее поставить и труднее им пренебречь, чем политическим и романтическим попури, наполняющим глаза европейцев. Среди змей и гиен, обезьян и попугаев, заполнивших джунгли их душ, эти мудрецы могли сидеть неподвижно, лишены страха в своем священном скепсисе. Какой бесконечной, какой тщетной, какой заслуживающей снисхождения с точки зрения разума становится творческая ошибка, что любишь, только сострадавая, и нет влечения к тому, что любишь; как похожи на несчастных животных западные философы с их почитанием фактов, их бережливостью, их моральной

нетерпимостью, скудостью воображения, политическими страстями и их раболопием перед интеллектуальной модой.

Для моих целей не имеет значения, что космология индусов была фантастичной. Едва ли она могла бы оказаться более экстравагантной, чем действительное построение материального мира, или в полном противоречии с человеческими данными; здесь истина и фантазия в одинаковой мере выносят приговор человеческим чувствам за иллюзии. Не без симпатии отношусь я к их стремлению укрыться от всеобщей суматохи в каком-нибудь приюте покоя. Философ имеет убежище в себе самом. Я подозреваю, что для него надуманное блаженство продолжить существование в других жизнях или полное освобождение от жизни было не более чем поэтическими символами, он находит удовольствие в истине и в одинаковой готовности наслаждаться действительностью или покинуть этот мир. Пока продолжается жизнь, освобождение не может быть полным, и оно ничто по ее окончании; но освобождение в определенной мере проистекает из того самого убеждения, что жизнь (иллюзия, если это убеждение морально действенно, как это было у индусов. Их вера в перевоплощение или карму в этом смысле излишня, поскольку последующий опыт может только изменить иллюзию, но не сделать более совершенной свободу. Упоминание о некоем последнем прибежище или субстанции все же неизбежно в доктрине иллюзии, и хотя оно может быть высказано в мифологической форме, к нему также следует прислушаться. Оно указывает на другие царства бытия (я буду обозначать их как царство материи, царство истины, царство духа (которые по своей природе не могут быть данными интуиции, а должны быть постулированы (если они вообще признаются людьми) посредством инстинктивной веры, выражающейся в действиях. Существуют ли эти последние царства или нет (это их дело; существование может быть присуще некоторым из них, например материи и духу, но не быть присуще другим, например истине. Что касается данных интуиции, природа их несуществования и иллюзорности заключается в том, что они даны. Датум по определению является предметом внимания, элементом текущей мысли, наглядной универсалией (visioned universality). То царство, в котором он располагается, в котором его на миг раскрывает стремительная интуиция, как раз и есть то самое царство не-существования или инертного и идеального бытия. Индусы, утверждая не-существование каждого элемента в возможном опыте, не только освобождают дух от идолопоклонства, но освобождают царство духа (то есть царство интуиции) от ограничений, поскольку ничто являющееся не существует, все что угодно может явиться без усилий и издержек существования. Фантазии предлагается беззаботно странствовать (одни иллюзии не губят другие, в то время как одно существование должно, напротив, убивать другие существования. Пока длится жизнь, перед наивной поэзией и бесконечными гипотезами открывается простор без опасений, что суждение будет ложным, а душа будет порабощена.

Европейские философы, даже считавшиеся идеалистами, редко смирялись с тем, чтобы рассматривать опыт как творение воображения. Вместо того чтобы искать вне иллюзии какой-то принцип, который мог бы ее вызывать или, быть может, устранять, как они поступали бы, как если бы, пытаясь истолковать сон, они относились к ней, как относятся к сновидению суеверные люди, то есть они предположили, что образы, которые они видели, сами по себе были субстанциями или силами, или по крайней мере несовершенным отображением оригиналов, напоминающим их. Другими словами, они были эмпириками, которые рассматривали явления как составляющие элементы субстанции. Конечно, были и исключения, но некоторые из них только подтверждали правило. Безусловно, Парменид и Демокрит не считали, что данные чувства или воображения существуют иначе, чем иллюзии или условные знаки, но по этой самой причине их основной интерес почти не затрагивал их, а был направлен главным образом на "Бытие", на атомы и пустоту, которые соответственно, как они считали, лежат в основе явлений. Сами явления, таким образом, приобретали определенную последовательность заменителей чего-то иного, поскольку рассматривались как своего рода оболочка субстанции. Каким-то образом внутри воспринимаемого датума или позади него всегда должна была обнаруживаться сама не вызывающая возражений

субстанция. Парменид не мог признать, а Демокрит не обнаружил, что единственная основа явлений (определенное событие в мозгу, ни в коей мере не похожее на них, и что отношение данных к обозначаемым внешним событиям представляет собой отношение спонтанного символа, подобного экспрессивному междометию, но отнюдь не отношение копии или эманации. Простодушные античные ученые полагали (как и некоторые мои современники сегодня), что восприятие отделяло от материальных предметов поверхностные качества или же действительно представляло собой эти отделившиеся качества, переместившиеся в голову наблюдающего. Соответственно отрицание существования чувственно воспринимаемых и интеллигибельных объектов никогда не было искренним до тех пор, пока не была отвергнута также и субстанция, пока перестали считать, что в этих явлениях и за ними не скрывается нечто существующее.

Все современные идеалисты осознали, что действительное явление не может быть частью субстанции, ибо субстанцией не является; данный образ имеет только данные отношения. Если я приписываю ему другие отношения (что я и делаю, если приписываю ему существование), я подменяю чистый датум одной из двух вещей: либо субстанцией, которая имеет такую же форму, что и датум, но возникает и растворяется в собственной среде, в соответствии с собственным ритмом, независимо от каких бы то ни было наблюдений; либо моим собственным восприятием, моментом моего опыта, носителем моего образа. Первый выбор просто возвращает меня к началу физики, когда существовало чисто наглядное знание о материальном мире и еще ничего не было открыто относительно его истинного механизма и его истории. Второй выбор постулирует человеческий дискурс или, как его обозначают эти философы, опыт: ясно, что статус датума в дискурсе или опыте (это статус простого явления, неустойчивого, прерывающегося, никогда не повторяющегося и зависящего в кажущемся наличии от движения внимания и перемешивания неясных образов восприятия. Другими словами, то, что существует, то есть то, что сохраняется в потоке и обладает меняющимися внешними отношениями, (это жизнь, сам дискурс, многочисленные приключения духа в его целостности. Это как раз то, что пытаются передать или вообразить писатели и психология познания (*literary psychology*). Отдельные данные, еле различимые с помощью слов, приклеенных к ним, являются сверкающими блестками или абстрактными точками отсчета для наблюдателя, ориентированного на невидимые события. Именно эти невидимые события, целостность человеческого опыта и истории, как она традиционно излагается, являются объектом веры этой школы и подлинным существованием. Внешне эмпирики стремятся свести этот неуправляемый объект к отдельным данным и приписать существование каждой крупинке опыта по отдельности; но на деле все отношения этих интуиций (которые не являются отношениями между данными), их временной порядок, подчинение привычкам, эмоциям, ассоциациям, значениям и объемлющему интеллекту, (все это интерполируется как само собой разумеющееся. Они и в самом деле таковы, поскольку это волны животной жизни, в которых на миг блеснет датум. Эмпириков интересует практика, они хотят трудиться, применяя насколько возможно необременительное интеллектуальное снаряжение; поэтому они приписывают существование "идеям", подразумевая интуиции, но заявляя, будто имеют в виду данные. Если бы они были заинтересованы в этих данных ради них самих, они осознали бы, что это только символы, наподобие слов, которые отмечают или выражают переломные моменты в их практических действиях, и, снова становясь в своих убеждениях ярыми материалистами, какими они всегда и были в своих привязанностях, они могут зайти так далеко, что станут вообще отрицать интуицию данного, что является решительным способом отрицания его существования. Дискурс и опыт, таким образом, вообще выпадут из поля зрения, и вместо данных интуиции останутся только наглядные элементы физики (другая возможная форма, в которой нечто данное может быть утверждено как существующее. Следовательно, если вообще что-либо существует, когда возникает явление, это существование (не та единица, которая является, а либо материальный факт, представляющий такого рода явление, хотя и конституированный многими другими

отношениями, либо же это подлинная интуиция, вызывающая, созидающая, или мнящая эту несуществующую единицу. Идеалисты, если они последовательны, отрицают и то, и другое; ибо и материальный предмет, и подлинная интуиция обладают бытием не потому, что их воспринимают: и то и другое, по определению, существует на своей собственной основе, благодаря собственной внутренней энергии и естественным отношениям. Таким образом, приходится признавать либо существование вне данности, что противоречит идеализму, либо вообще отрицать существование. Абсолютные идеалисты допускают и даже настаивают на том, что явление отнюдь не предполагает существование того, что является, а бесспорно его исключает. *Esse est percipi* 11 (максима, рожденная четким художественным импульсом, подобная выражению Фауста: *Gef?l ist alles* 12! Но эта максима была высказана без рефлексии, потому что тот, кто высказывал ее, на деле имел в виду прямо противоположное, а именно: что существуют только духовные сущности, скорее даже один дух, которые недоступны восприятию. Это прекрасный и глубокий момент того ощущения, что нечто, поддающееся изображению, не обладает существованием. Данность может быть только формой, порождаемой животными чувствами, подобно верблюду и кунице, которых Гамлет усматривает в форме облака; как эти странные существа не могли бы обладать зоологическим существованием на небесах в форме этих облаков, так и единицы человеческой апперцепции не имеют существования нигде.

Поэтому когда идеалисты говорят, что идеи являются единственными объектами человеческого знания и что они существуют только в разуме, яз язык допускает непоследовательность, потому что знание идей не является знанием, а данность интуиции не является существованием. Но эта непоследовательность позволяет двум различным философиям пользоваться одной и той же формулой, вплоть до полного смешения теории и чувства. Одна философия под словом идея понимает факт или феномен, стадию в изменении судьбы и опыта, которые существуют в данный момент и о которых известно, что они существовали там в другие моменты. Другими словами, их идеи (это запомнившиеся события в природе, предмет психологии и физики. Эта философия, доведенная до конца, становится материализмом. Ее психология сводится к описанию поведения, а ее феноменалистический подход к природе (к математическому исчислению невидимых процессов. Другая философия (единственная из тех, что меня здесь интересует) под словом идея понимает элементы ощущения и мысли, их наглядный риторический синтез. Поскольку эти темы интуиции призваны вобрать всю реальность, и никакое верование не принимается за нечто большее, чем новый датум мысли, эта философия отрицает трансцендентность знания и существование чего-либо.

Хотя по характеру абсолютные идеалисты часто далеки от скептиков, их метод (олицетворение скептицизма; это проявляется не только в их критике любых догм, но и в том, обосновании, которое они дают собственным взглядам. В чем состоит это обоснование? В том, что критика познания доказывает, что действительное мышление является единственной реальностью, что объекты знания могут жить, развиваться и обладать бытием только внутри него, что существование есть только нечто привнесенное и что истина (это только согласие между идеями, которые сами по себе не имеют объектов. Факт, говорят эти критики, (это понятие. Это утверждение может показаться нелепым, поскольку понятие в лучшем случае обозначает идею факта или предположение о факте, но если доброжелательно принять это утверждение, то, что придирчивая критика знания под ним подразумевает, равносильно следующему: нет никаких фактов; то, что мы называем фактами, и уверены, что они таковыми являются, на самом деле (всего лишь просто фикции, образ того, чем могли бы быть факты, если бы факты были вообще возможны. То, что факты (идеал, неспособный осуществиться, ясно на основании трансцендентальных принципов, поскольку факт представлял бы собой событие или существование, к которому познание должно было бы подступиться и каким-то образом взять в осаду извне, так что для знания (единственной реальности в этой системе) факты всегда остаются фантомами, произведениями суеверного инстинкта, терминами для постоянно утверждаемого и никогда

не достигаемого, и поэтому всегда нереальными. Если бы факт или истина обладали отдельным бытием, они не могли бы являться составной частью знания. Какой, пусть мизерной, частью реальности ни обладали бы факты и истины, они должны заимствовать ее от знания, в котором они по необходимости остаются всего лишь идеалами; так что нереально только то, что они вообще реальны. Трансценденталисты убеждены, что знание (это все, не потому что предполагают, будто все познано, а буквально потому, что они считают, что нечего познавать. Если бы что-либо действительно существовало, если бы имелась независимая истина, она была бы непознаваема, как понимают знание эти алчные мыслители. В их глазах замечательное свойство знания состоит в том, что если нечего познавать, то знание (это свободное и уверенное творчество, новое и всегда обосновывающее само себя).

Трансцендентализм, если он последователен, таким образом, соглашается с утверждением индийских систем, что иллюзия, будто данные предметы существуют, сама не имеет существования. Любое действительное чувство, любая отдельная мысль была бы самосуществующим фактом, но факты (это только понятия, то есть неактивные элементы абсолютной мысли. Если бы иллюзии действительно существовали, они были бы не понятиями, а событиями, и хотя их воображаемые объекты могут и не существовать, само представление о них существует, они принадлежали бы к тому типу независимых фактов, которые трансцендентальная логика исключает как невозможные. Акты суждения, полагания и воображения не могут быть в этой системе признаны, если они в свою очередь не полагаются другим суждением, то есть до тех пор, пока они не перестают скрываться во мраке самостоятельного существования и не становятся чисто идеальными предметами действительной интуиции. Когда они, таким образом, становятся феноменальными, интенция¹³ и суждение могут постулировать их и дать им мандат существования, однако верование, будто они существуют как-то иначе, чем имеющиеся налицо постулаты, всегда ложно. Привнесенное существование (единственно возможное существование, но оно всегда должно быть привнесенным ложно. Например, широко обсуждаемые взгляды античных философов, если они вообще существовали, должны были существовать задолго до того, как они стали объектами для интуиции историка или для интуиции читающего об истории, которые выносят суждение, что они существовали. Но самостоятельное существование противоречит трансцендентальной логике; это призрак, отделенный от знания и дыхания жизни во мне здесь и теперь. Таким образом, взгляды философов существуют только в истории, история существует только в историке, а историк существует только в читателе, а сам читатель существует только для своего самосознания, которое на деле не является его собственным, но абсолютным самосознанием, думающем о нем и обо всем со своей точки зрения. Таким образом, все существует исключительно идеально, ошибочно постулированное как существующее. Единственная познаваемая реальность нереальна, потому что является видимостью, а другие виды реальности нереальны, потому что непознаваемы.

Трансценденталисты, таким образом, вынуждены, подобно Пармениду и философии Веданты, отступить на позиции неясного внутреннего, но всепроникающего принципа, непостижимая сила которого приводит в движение всю эту иллюзию и в то же самое время осуждает и уничтожает ее. Здесь я имею дело, позвольте мне повториться, со скептицизмом, а не с уточняющими догмами; но для трансценденталиста, который питает глубокое отвращение к субстанции, сама уточняющая догма является еще одним отрицанием существования. Ибо в чем состоит в его системе эта трансцендентальная основа всех иллюзий, эта действующая во всех суждениях и постулатах сила? Это не существующий разум, если эта фраза могла бы иметь смысл. Абсолютная мысль не может существовать изначально, до того как она вменит существование другим вещам или себе. Если бы она нуждалась в существовании до его привнесения, как могли бы подумать профаны в логике, сам принцип трансцендентального критицизма был бы отброшен и отвергнут, и ничто более не препятствовало бы существованию интуиций или материальных вещей до того, как кто-

либо постулировал. Но чем может быть абсолютный дух, не существуя? Только принципом, логикой, которая должна воплотиться, саморазвертывающейся программой, долженствованием, утверждающим себя без наличных средств, основы или причины. Существование совершенно недостойно этого трансцендентального духа, враждебно ему. Дух здесь только имя для абсолютного закона, рока или случая, который предопределяет возникновение одной совокупности явлений вместо другой. Несомненно, что эта фатальность желанна энтузиасту, в котором пробудился этот дух, и сама его неосновательность принимает форму свободы и творческой силы в восприятии последнего. Но это влечение к жизни, очевидно, не имеющее никакого природного базиса, само является счастливой, но хрупкой случайностью, иногда сознание неожиданно восстает против него, объявляет его бессмысленным, безумным, преступным. Фихте сказал однажды, что тот, кто желает чего-нибудь воистину, должен всегда жаждать этого, и это высказывание может быть истолковано в духе трансцендентализма, если понимать его таким образом: поскольку трансцендентальная воля вне времени и творит свой универсум всегда, когда проявляет себя, природа этой воли на этой стадии неизменна и порождает то же представление и тот же мир, который, пребывая вне времени, не может быть поглощен временем. Но, возможно, даже Фихте не был свободен от человеческой слабости. Он, по-видимому, считал (или предполагал), что то всеобщее образование, которое требовали ввести в Пруссии, может закрепить волю человечества и превратить ее в неизменный порядок, и что философ может взять на себя обязательство перед абсолютным всегда постулировать тот же самый порядок вещей. В таком понимании эта максима противоречила бы трансцендентализму и страстному убеждению самого Фихте, который требовал "новых миров навсегда". Даже если бы он имел в виду только то, что принцип постоянной новизны по крайней мере сохраняется и никогда не может стать жертвой событий, он противоречил бы абсолютной свободе "жизни" быть такой, какой она хочет, и его собственным опасениям, что где-то, в какой-то день жизнь может утомиться и дать загнипнотизировать и поработить себя образом созданной ею материи.

Но слабости даже величайших идеалистов ничего не значат для самого идеализма, и принцип, что существование всегда есть нечто привносимое, а не нечто обнаруживаемое, неоспорим, даже если идеалисты ради вежливости говорят, что, если существование привносится по необходимости, это происходит поистине. Для моего предмета также не имеет значения, называют ли они фикцию истиной по той причине, что она получила законный статус, или называют законность иллюзией потому, что она ложна. В любом случае в поддержку моего излюбленного тезиса я могу обратиться к авторитету всей этой школы, в которой сознание изучалось и описывалось с замечательной искренностью. Они единогласно отрицают, что что-либо данное может существовать в своей собственной основе или может быть чем-либо иным, нежели предметом, выбранным духом, предметом, который никакая субстанциальная вещь, никакое внешнее событие не может заставить дух когда-нибудь помыслить или воспроизвести. Ничто существующее не может являться, ничто являющееся не может существовать. Являющееся (это мысль, вся ее жизнь (это только моя жизнь, осмысливающая ее; и какие бы предостережения и значения я ни связывал с ее присутствием, она не может быть чем-либо другим, кроме как той видимой вещью, какой она является. В обычном течении животной жизни явления могут быть нормальными или отклоняющимися от нормы, животная вера и практический рассудок могут давать им правильную или ошибочную интерпретацию, но в себе всякое явление, именно поскольку оно явление (иллюзия).

Подтверждение этого тезиса может быть также обнаружено в совершенно другой области (в естественной истории. Чувства животных, насколько можно судить о них по их движениям и поведению, определяются их структурой. Окружающие факты и силы подобны солнцу, которое одинаково светит как праведным, так и неправедным, и подобны дождю, который одинаково падает на всех; от них зависит существование животного, они дарят соответствующие навыки, которые животное может приобрести, но выживает оно главным

образом благодаря отсутствию чувствительности и своего рода общему иммунитету к большинству изменений, которым оно подвергается. Только по отношению к чрезвычайно специфическим воздействиям, особой нерегулярной стимуляции оно формирует инстинктивные реакции в отдельных органах, и его интуиции, если оно обладает ими, выражают эти реакции. Если преградить путь действия стимула, его материальные источники остаются такими же, какими они были, но они не будут восприниматься. Если стимул или что-нибудь эквивалентное ему достигает мозга из любого источника, как во время сна, те же самые интуиции проявляются в отсутствие материального объекта. Чувства животных выражают их телесные привычки, но непосредственно они не выражают ни существование, ни природу какого бы то ни было внешнего предмета. Склонность реагировать на эти внешние предметы не зависит ни от каких предположительных данных интуиции и предшествует их появлению: это усилия животного в преследовании и бегстве или в ожидании животного; но сигналы, посредством которых интуиция может фиксировать переломные моменты в наблюдении животных или в их борьбе, (те же самые сигналы, которые появляются во сне, когда нет никаких действий. Объектом, который имеется в виду, никогда не будет непосредственно наглядный датум, но всегда либо патологический симптом, либо элемент дискурса, либо описание, предлагаемое данному объекту в определенный момент этим чувством, специфическим для каждого органа чувств, которое переводит, например, перевариваемость (в чувство вкуса, то, что благоприятно для здоровья (в ощущение свежести, расстояние (в размер, рефракцию (в цвет, расположение (в схему, распределение (в перспективу, и погружает все в духовную среду, где оно становится благом или злом, чем оно не может быть иначе как в животном со-чувствии (*animal sympathy*)).

Все эти толкования, какими бы оригинальными по характеру они ни были, по своей функции остаются символами, поскольку они возникают в акте сосредоточения внимания на чувствах и реакциях в акте сосредоточения внимания на чувствах и реакциях животных на определенные внешние влияния. В здоровых условиях жизни они превращаются в известные и безошибочные маски природы, придавая всему окружающему надлежащее место в дискурсе человека, прозвища в человеческой семье. По этой причине, когда воображение действует в пустоте (как это может быть во сне или под влиянием яростного аффекта) оно становится иллюзией в дурном смысле этого слова, то есть его по-прежнему принимают за символ, когда оно ничего не символизирует. Все эти данные, если посредством отвлечения от их практического значения их стали рассматривать сами по себе, перестают быть иллюзиями в познавательном плане, поскольку не предполагается, что они говорят о чем-то существующем; но человек практики мог бы называть их иллюзиями по этой самой причине, поскольку, хотя они и не содержат ошибок, они не заключают в себе ничего истинного. Для того чтобы достичь существований, нужно стремиться выйти за пределы интуиции и принимать данные за то, что они означают, а не за то, что они есть, нужно верить им так, как разум верит словам, принимая мимолетные образы в качестве гарантии чего-то прошедшего или будущего, того, что уже было, или того, что еще будет, или того, что находится в совершенно другой среде, среде материального бытия, или другого дискурса. Интуиция не в состоянии обнаружить или различить какой-либо факт, это чистое воображение, и чем больше я предаюсь ему, чем абсолютнее я предаюсь ей, тем более нереальным становится оно. Если когда-нибудь оно перестанет вообще что-либо обозначать, оно станет чистой поэзией, если оно невозмутимо спокойно, или превратится в бред, если оно напряжено. Так и боль, если это не страдание из-за какого-либо события или свидетельство душевной раны, или переломного момента в телесной жизни, превращается в настоящий ужас, своего рода маленький ад, существующий сам по себе, поскольку надрыв организма довел интуицию до высочайшей степени интенсивности, направив ее на нечто иное, что нужно найти или сделать в мире, созерцать в воображении. Про боль, когда она доводит до помрачения рассудка, порой говорят как о моральном чудовище, интуиции, поглощающей самое себя или впустую растрачиваемой в агонии.

Таким образом, научная психология подтверждает критицизм знания и опыт жизни, которые утверждают, что непосредственные объекты интуиции представляют собой лишь явления, и ничто данное не существует, как оно дано.

Глава IX

ОТКРЫТИЕ СУЩНОСТИ

В утрате веры, как я уже замечал, нет тенденции к изгнанию идей. Напротив, поскольку сомнение пробуждает рефлексию, оно поддерживает воображение в напряжении и придает всему зрелищу предметов определенную непосредственность, однородность и настроение. Все низкое и трагическое отбрасывается, все обретает лирическую чистоту, как будто бы жребий еще не брошен, и зловещий выбор творения еще не сделан. Нередко самыми богатыми философиями оказываются самые скептические. Разум тогда не ограничен определенным ему законом, оно свободно блуждает по девственной природе бытия. Индусы, отрицающие существование мир, остро чувствуют его бесконечность и его разнообразные цвета. Они величественно играют с чудовищным и чудесным, как в Тысяче и одной ночи. Ни один критик не вглядывался так пристально в контуры идей, как Юм, который считал невозможным всерьез поверить, будто они что-либо отражают. У критика, как и у художника, отказ от верования и практического понимания благоприятен для видения; пристальный взгляд передает каждую картину явственно и недвусмысленно; это не только результат физиологической компенсации, при которой нервной энергии, быть может, освобожденной от подготовки к действию, позволяется усилить процесс простого ощущения. Тут имеет место и логическое прояснение. Поскольку участвовали верование, интерпретация и значение, наличный объект становился неоднозначным. В поиске факта разум упустил из виду или запутал датум. Все же каждый элемент в этом напряженном поиске (в том числе сама напряженность (есть именно то, что он есть. Если я на миг оставлю транзитивный интеллект и дам каждому из этих элементов соответствующее ему определение, я буду обладать более богатой и четкой совокупностью терминов и отношений, чем когда я пытался неуклюже перестроить свой разум. Живые существа живут скорее ожиданиями, чем ощущениями. Если бы они всегда должны были созерцать то, что они видят, в первую очередь они должны были бы схватывать идею, улетающую в прошлое, сокровенную в своей мимолетности. Эта мимолетность (не ее порок, а моя поспешность и невнимательность. Я нечетко фиксирую ее, как во сне, или еще, возможно, ее сокровенность и мимолетность представляет истину этой картины, и именно их-то и должен стремиться схватить и увековечить подлинный художник, представляя на обозрение всем то, что практический интеллект называет неясным в своем собственном определении. Ничто не является неясным в себе самом, или иным, чем оно есть. Символы неопределенны только в отношении своего значения, если оно оказывается двусмысленным.

Поэтому обычно неадекватна высказываемая в адрес Беркли и Юма критика, будто они не обратили внимания на неясность человеческих идей, хотя почти каждая идея человека скандально невразумительна. Напротив, их интуиция идея, по крайней мере первоначально, была вполне прямой и открытой. Упущенная ими из виду двусмысленность заключается в отношении идей к физическим вещам, которые они хотели свести к группам или последовательностям этих четких идей (химерная физика. Если бы они совершенно удержались от отождествления идей с объектами естествознания (событиями и фактами), от попыток сконструировать материальные вещи из зрительных и тактильных образов, они могли бы обогатить философию видимой реальности и выявить чистое царство идей так же непосредственно, как это сделал Платон, но более точно. При этом им не было бы нужно запутывать или подрывать веру в естественные вещи. Восприятие является верой. Большое число восприятий может расширить эту веру, преобразовать ее, но не в состоянии опровергнуть, если только не прибегнуть к софистике. Эти неиспорченные философы были подобны современным художникам (кубистам или футуристам. Они могли бы представить на свет любопытные и не признаваемые формы прямой интуиции. Им невозможно было бы

предъявить обвинение в абсурдности за то, что они видели то, что на самом деле видели. Но они впадают в абсурд, причем немедленно, как только выдвигают претензии быть первыми и единственными мастерами в анатомии и топографии.

Далекие от того, чтобы быть смутными или абстрактными, остающиеся у радикального скептика очевидные идеи могут оказаться слишком захватывающими, слишком многочисленными или слишком сладостными. Моральное порицание их не менее четко, чем научный критицизм, который отвергает их как иллюзии, как то, из чего не может состоять существующий мир. Совесть не в меньшей мере, чем дело, может упрекать скептика за своего рода расточительную праздность; он может называть себя сибаритом, глубоко сожалеть о своем ничегонеделании, даже испытывать головокружение и желание смотреть сквозь пальцы на все те образы, которые без какой-либо цели развлекают его. Но скептицизм (это упражнение, а не жизнь; это дисциплина, нужная для того чтобы очистить разум от предрассудков и сделать его более пригодным, чтобы, когда придет время, мудро судить и действовать. Пока же чистый скептик может не огорчаться из-за многообразия окружающих его образов, собравшихся вокруг него, если он достаточно щепетилен, чтобы не доверять им и ничего не утверждать по их подсказке. Скептицизм (это целомудрие интеллекта, и постыдно сгоряча отдавать его первому встречному: хранить его сдержанно и гордо на протяжении долгой юности (благородно, пока, наконец, в зрелости инстинкта и благоразумия на смену ему не придет благополучно преданность и благоденствие, но философ, если только он является спекулятивным философом, своего рода вечный холостяк. Он стремится скорее к тому, чтобы не испытать предательства измены, чем к тому, чтобы его привлекали и вдохновляли. Хотя, если ему присуща мудрость, он должен понимать, что подлинный союз разум заключает с природой, наукой и практическими искусствами, однако в его особой профессиональной сфере для него будет благом, если он будет рассматривать всякий опыт в его простой определенности, в той четкости и раздельности, которой обладает каждая из его частей безотносительно к какой-либо гипотезе или действию, поводом к которым они могут служить.

Таким образом, скептик вследствие того, что он довел свой скептицизм до крайних пределов, находится среди более ясных и менее двусмысленных объектов, чем практический и верующий разум; однако эти объекты лишены внутреннего смысла, они суть только то, чем являются очевидно, все то, что лежит на поверхности. Они демонстрируют ему все мыслимое с величайшей ясностью и силой, но он более может воображать, будто он видит в этих объектах что-либо другое, кроме их непосредственного наличия и их номинальной стоимости. Скептицизм, следовательно, исключает все знание, заслуживающее этого наименования, всякое преходящее, предположительное знание фактов, которое является формой верования и на его место ставит интуицию идей, умозрительную, эстетическую, диалектическую, произвольную. В то время как преходящее знание, хотя оно имеет большое значение, если является истинным, всегда может быть поставлено под сомнение, интуиция, которая, напротив, не обладает каким-либо потусторонним объектом или истиной и не претендует на это, не рискует ошибиться, поскольку не претендует ни на какие права на что-либо чуждое ей или окончательное.

В этой прозрачности и невозмутимости интуиции есть нечто сверхъестественное.

Представьте себе ребенка, привыкшего видеть одежду только на живых людях и едва ли отличающего ее от магическим могучих тел, которые приводят ее в движение. Неожиданно этот ребенок попадает в магазин, где он видит разнообразную одежду, развешанную на выстроившихся рядами манекенах, с полой грудью из толстой проволоки, с деревянными набалдашниками вместо голов; ребенок может быть очень шокирован или даже перепуган. Как это возможно, чтобы предметы одежды, развешанные таким образом, могли бы не быть людьми? Подобные абстракции, мог бы он сказать себе, метафизически невозможны. Либо эти фигуры должны тайно сохранять жизнь и быть готовы начать танцевать, когда меньше всего этого ожидает, либо на самом деле они нереальны, и он может только воображать, будто видит их. Подобно тому как мальчик мог расплакаться при виде всех этих одежд,

лишенных тел, такое же впечатление может впоследствии произвести на него грандиозное зрелище природы, если бы он стал скептиком. Маленькому слову есть присущи свои трагедии; с величайшей непосредственностью оно сочетает и отождествляет различные вещи, и однако ни одна из них никогда не тождественна другой, и если в этом заключаются чары сочетания их и обозначения их одним именем, в этом же таится опасность. Когда бы я ни пользовался словом есть, исключая полную тавтологию, я грубо им злоупотребляю, и когда я обнаруживаю свою ошибку, кажется, что мир распадается, а члены моей семьи больше не знакомы друг с другом. Существование (это здоровое тело и знакомые движения, которые юный ум ожидает обнаружить в любом манекене. И те из нас, кто умудрен опытом, порой не в меньшей степени упорствуют в неприятии зрелища облачений существования (всего того, что мы видим, когда само существование исчезает. Скептицизм представляет нам именно эти действительные, привычные, но теперь лишившиеся внутренностей объекты, как незнакомый мир. Вернисаж идей, где представлены все виды фасонов и моделей, но без тел, которые могли бы надеть их, и где привычная манера передвижения не отвлекает взор от необычного кроя и тщательной отделки каждой детали. Это представление, столь полное в своей театральной реальности, где не осталась упущенной, незамеченной ни одна пуговица, ни одно перо, (не живой бал, каким он должен быть, а пародия на него, подобно дворцу Спящей Красавицы. Для моего обычного ума одежда без тел столь же неуместна, как и тела без одежды. Только сочетание того и другого свойственно человеку. Вся природа обнажена и счастлива этим, и я сам не так далеко ушел от природы, чтобы время от времени не возвращаться с глубоким чувством облегчения к наготы (то есть к подсознательному. Но идеи без предметов и облачение без носителей представляются мне нелепостью, я думаю, что одежда создана для того, чтобы соответствовать фигуре, без которой она бы упала. Все-таки подобно фиговым листкам Эдема одежда ею по своей сути не является. Фиговые листки стали предметами одежды случайно, когда один из них был приспособлен для этого предусмотрительным потребителем (не обязательно человеком (чей инстинкт может выбрать его, иначе он довольствуется тем, что упускает свой шанс и валяется в гуще своих разноцветных соседей на огромном складе отвергнутых убранств.

Именно страх иллюзии изначально будоражил душу простого человека, по природе догматика, и толкнул его на путь скептицизма. Существует три способа избавиться от страха иллюзий, каждый из них в разной степени удовлетворяет его честность. Одним из них является смерть, в которой иллюзия исчезает и забывается. Однако, несмотря на то что таким образом уничтожается страх ошибки, даже позитивной ошибки, никакого ответа не дается на предыдущие сомнения, никакого объяснения ни тому, что явилось причиной иллюзии, ни тому, что ее рассеяло. Другой путь заключается в исправлении ошибки и замене ее новым верованием. Но в то время как для животной жизни такое решение будет удовлетворительным и прежняя склонность к догматизму может быть впоследствии возобновлена без каких-либо практических осложнений, в спекулятивном смысле дело совершенно не продвинулось вперед: не предлагается никакого критерия истины за исключением обычая, удобства, а также случайного отсутствия сомнения, но то, что отсутствует случайно, может произвольно появиться в любой момент. Третий путь, к которому я теперь подошел, состоит в том, чтобы принимать иллюзию как неизбежное, но не поддаваться ей, откровенно признавая ее за иллюзию, но отказывая ей в каком бы то ни было бытии, кроме того, которым она обладает очевидно, и тогда независимо от того, приносит ли она мне пользу или нет, она не введет меня в заблуждение. То, что останется от этой иллюзии, которая не вводит в заблуждение, будет истиной, и притом истиной, бытие которой не требует никаких объяснений, поскольку совершенно невозможно, чтобы это было не так. Разумеется, я могу задать вопрос, почему вопрос о тождественности конкретной вещи самой себе должен прийти мне в голову? Вопрос, для ответа на который мне нужно погрузиться в царство существования и естественной истории, каждый элемент и каждый принцип которого так же случаен, так же неуместен и так же необъясним, как произвольно мое бытие; но то, что эта конкретная вещь или какая-либо другая, которая могла явиться мне

вместо нее, должны быть такой, какова она есть, не представляет проблемы. Ибо каким образом она могла бы быть другой? В случайности моей точки зрения на вещь также не может содержаться никакого морального ущерба, поскольку в моем распоряжении ее нет никакой ошибки. Ошибка произошла от необдуманной веры в нее, а возможность ошибки кроется в природной склонности к вере. Освободитесь от давления присущей животному алчной поспешности и от предположений голода, и в иллюзии не останется ошибки, теперь это уже не иллюзия, а идея. Подобно тому как пища перестанет быть едой, а отравы (ядом, если вы удалите желудок и кровь, которые могли бы переваривать эту пищу и отравиться, точно так же прекрасные вещи перестанут быть прекрасными, если живую душу лишит доброжелательства и удивления, а если вы уничтожите беспокойство, сам обман станет просто развлечением, а любая иллюзия (не более чем еще одним знакомством с царством форм. Непостижимая умом случайность существования перестанет скрываться среди этого очевидного бытия, обременяя и стесняя его, и угрожая, что его поглотят безымянные соседи. Она будет пребывать в своем собственном мире, светиться своим собственным светом, хотя я буду видеть ее мимоходом. Никакая дата не будет значиться на ней, никакая шкала времени, полная или пустая, не будет заключаться в ней, ничто в ней не будет обращено ко мне, никакого наблюдателя не будет она наводить на какие-либо мысли. Это будет подобно событию в мире, которого нет, подобно событию опыта, которого нет. Его качество перестанет существовать. Это будет просто качество, которым оно от природы, логически, неотчуждаемо является. Это (Сущность).

Воздержание не остается без воздаяния. Когда благодаря нелегкому процессу отказа от суждений я лишил данный образ вещей всех случайных значений, когда он перестал рассматриваться и как проявление субстанции, и как идея ума, и как событие в мире, а сам по себе (если цвет, то именно этот цвет, если музыка, то именно эта музыка, если лицо, то именно это лицо), тогда мне воздалось за это познавательное воздержание поразительной отчетливостью знания. Мой скептицизм наконец-то дошел до самых основ, и мое сомнение достигло достойного успокоения в абсолютно несомненном. Какую бы сущность я ни обнаружил и ни отметил, именно эта, а не какая-либо другая сущность утвердилась передо мной. В этом я не могу ошибаться, поскольку сейчас у меня нет другого объекта интенции или интуиции. Если по каким-либо частным причинам я не удовлетворен и хотел бы поменять обстановку, ничто этому не препятствует, но это изменение обстановки оставляет вещь, которую я первоначально видел, обладающей всеми присущими ей качествами, из-за которых она перестала мне нравиться, и я отказался от нее. Когда передо мной некая сущность, а некто посторонний может говорить о другой вещи, которую он называет тем же самым именем, на деле ничего не меняется. Если меняюсь я сам и исправляю себя, выбирая новую сущность вместо прежней, на деле происходит изменение взглядов и интересов в моей жизни, но их природа с тех пор, когда я придерживался их, остается той же самой неизменной природой. На самом деле поистине говорить, что произошли перемены в моем уме, можно только потому, что каждая сущность является сущностью, определяемой мгновенным восприятием, ибо я могу отбросить любую из них, только замещая ее чем-то другим. Эта новая сущность не могла бы отличаться от предыдущей, если бы каждая не была неизменно самой собой.

Таким образом, существует своего рода игра с несуществующим, игра мысли, которая всегда принимает участие во всяком так называемом знании фактов и которой всегда удается пережить его, поскольку последнее постоянно ставится под сомнение или опровергается. Этим миражом не-существующего, или интуицией сущности, ограничен чистый скептик. Ограничен (едва ли подходящее здесь слово, потому что, хотя без веры и риска он никогда не сможет покинуть эту тончайшую и бестелесную грань бытия, эта грань при всей своей тонкости бесконечна, и нигде не существует ничего возможного, прообраза и прототипа чего, как тени или образца, не нашлось бы здесь. С духовной точки зрения, рассматривать сущность (значит умножать знание подлинного бытия, но это не значит даже соприкоснуться со знанием фактов, и идеальный объект, как мы его определили, может не иметь никакого

отношения к природе, тем не менее он обладает эстетической непосредственностью и логическим определением. Ограниченные пределы спекулятивного знакомства с сущностью делают ее неопровержимой, а логическая и эстетическая идеальность ее объекта делает этот объект вечным. Таким образом, самый радикальный скептик может утешиться, избежав порицаний и опровержений. Одним броском он может перепрыгнуть все хитросплетение человеческих верований и догматических притязаний, избежать человеческих слабостей и предрассудков и найти опору во вполне надежном убеждении, что любая сущность или идеальное качество бытия, которые могут стать объектом его интуиции, обладают той природой, которую он обнаруживает в них, и обладают ею вечно.

Это не праздное убеждение. В конечном счете единственное, что по самой сути может интересовать меня в переживаниях других людей, а также помимо животного эгоизма в моих собственных переживаниях, (это природа сущностей, которые в любой момент вторгались в наши знания, а совсем не продолжительность времени, на протяжении которого мы можем удерживать их, ни обстоятельства, которые вызвали этот образ, если эти обстоятельства в свою очередь при их рефлексивном рассмотрении не демонстрируют разуму сущности, которые он с наслаждением созерцает. Конечно, выбор сущностей, интерес к ним целиком происходит из склонностей животного, которое вызывает их образ из своей души, и выпавших на его долю превратностей. Только связь с моей животной жизнью придает тем сущностям, которые я способен различать, их духовный колорит, так что моему разуму они представляются прекрасными, ужасающими, тривиальными или вульгарными. Благие сущности таковы, потому что сопровождают и выражают благую жизнь. В них, добрых и дурных, эта жизнь обретает вечность. Безусловно, когда я перестану существовать и думать, я утрачу опору на это убеждение, но предмет, в котором на какой-то момент я обнаружил воплощение моих экспрессивных импульсов, останется, как и прежде, предметом для рассмотрения, даже если никто другой, и я тоже, больше никогда не будет рассматривать его.

Но это не все. Не только природа каждой сущности неотчуждаема, и, поскольку она открыта для интуиции, несомненна, но и царство сущности бесконечно. Поскольку любая сущность, с которой мне приходилось сталкиваться, независима от меня и обладала бы точно такой же природой, если бы я никогда не появился на свет или обстоятельства моей жизни и темперамент никогда не привели бы меня к восприятию этой конкретной сущности, очевидно, что все иные сущности, о которых я даже не задумывался, пребывают в таком же неосознанном бытии (неосознанном, хотя это единственный вид бытия, который может быть на самом деле обнаружен самым грубым опытом. Следовательно, разум, просвещенный скептицизмом и избавленный от крикливых догм, разум, отвергающий любые сообщения, свободный от мучительной тревоги за собственную судьбу и существование, находит в пустынности сущностей пленительное и восхитительное одиночество, за последними рубежами сомнения и самоотречения путем простого перенесения для него открываются поля бесконечного разнообразия и мира, как будто бы через врата смерти он перешел в рай, где все предметы кристаллизованы в образы самих себя, утратили свои навязчивость и яд.

Глава X

НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЭТОГО ОТКРЫТИЯ

В подчеркивании очевидного кроются некоторые опасности. Быстрый разум, мгновенно схватывающий, как очевидно очевидное (хотя прежде он никогда не обращал на это внимания), заявит, как несерьезно и бессмысленно задерживаться на этом. Задиры предположат, что вы имеете в виду нечто большее, чем говорите, и пытаетесь под прикрытием этого трюизма протащить какую-то предосудительную догму. В конце концов несамостоятельные умы, желающие думать, что вы изрекаете им в назидание непреложную истину, склонятся перед вашими незамысловатыми словами как перед священной тайной. Распознавание сущности, как мне кажется, сопряжено с такого рода недоразумениями, поэтому, прежде чем двигаться вперед, я постараюсь их устранить.

Во-первых, предостережение умеренным идеалистам. Признание того, что данные опыта являются сущностями, является платонизмом, но оно исправляет все, что характеризует чувственное у Платона, врачую как бы гомеопатическими дозами. Царство сущности населено не избранными формами или магическими силами. Это всего лишь неписанный каталог, прозаический и бесконечный, всех тех качеств, которые присущи тем вещам, которым случилось существовать, наряду с теми качествами, которыми бы обладали всевозможные вещи, если бы они существовали. Это (множество заслуживающих упоминания объектов, элементов, о которых или посредством которых может быть высказано нечто. Таким образом, хотя сущности имеют природу и онтологический статус платоновских идей, они не могут претендовать ни на какие космологические, метафизические и моральные прерогативы, приписываемые этим идеям. Они бесконечны по числу и нейтральны в отношении ценностей. Разум греков был склонен к риторике: то, что высказывалось в дебатах, представлялось им окончательным, и Сократ считал важным определять в диспутах общую природу, обозначаемую разными словами. Платону, который первоначально был поэтом, была присуща более эмоциональная интуиция своих идей, тем не менее грамматика и моральные предрассудки направляли его к тому, чтобы отбирать и обожествлять их. Качество или функция, которые делают всех пастухов пастухами, а все блага благами, (это сущность; однако таковы и все остальные качества, которые делают каждого пастуха и любое благо отличным от других в том же роде. Царство сущности, отнюдь не сводя изменчивое существование к небольшому числу норм человеческого языка и мысли для того, чтобы сосредоточиться на них, бесконечно умножает это множество и добавляет все невыявленные оттенки и модусы бытия к тем, которые различил человек и которые содержатся в природе. Сущность не есть нечто изобретенное или учрежденное ради определенной цели, она (нечто пассивное, нечто, что может быть обнаружено, всякое качество бытия, поэтому ей не присуща функция сведения множества к единству для удобства нашего немощного ума или экономии языка. Сущность гораздо словоохотливее природы, которая сама отнюдь не лаконична.

Сущности не обладают метафизическим статусом, чтобы осуществлять сверхъестественное управление природой. Моя доктрина не оказывает никакой поддержки человеческим предположениям, будто все то, что человек замечает, обозначает или любит, должно иметь более глубокие основания в реальности или быть более постоянным, чем то, чем он пренебрегает или не ставит ни во что. Благо является сильным магнитом для дискурса и воображения, поэтому оно по справедливости правит платоновским миром, который является миром только моральной философии. Но само это благо определяется и выбирается скромной животной природой человека, которая нуждается в пище, жизни и любви. В царстве сущности это человеческое благо не имеет никакого преимущества и, будучи сущностью, не имеет никакой силы. Платоновское представление, будто идеи являются образцами, которые несовершенным образом копируются вещами, превосходно выражает моральную природу человека, достигающего самосознания и явно провозглашающего свои инстинктивные потребности. Может быть и так, что моралист (если он (поэт, податливый для более широких воздействий природы) определяет требования, которые могли бы предъявлять другие живые существа к себе и к нам, как если бы обладали жизнью и мыслью. Идеи Платона, в их самом общем смысле, выражают родство со всеобщей жизнью; это анаграммы морального прозрения. Отсюда их благородство, постоянное обращение к душам, стремящимся к совершенству, проявляется ли это в искусстве или в самодисциплине. Дух, выражая себя через них, укрепляется, подобно тому как утверждается артист, когда на его глазах обретает форму его внутренняя работа и открывает ему его собственные скрытые интенции и оценки, которые он никогда до этого не выражал. Ибо царство сущности не в большей мере определяется теми немногими идеалами, которые избраны и направлены ввысь устремлениями живых существ, чем небесные галактики ограничиваются Полярной звездой. Превосходство является относительным для случайной жизни природы, которая выбирает сегодня одну сущность, завтра (другую в качестве цели определенной мысли или

устремления. В царстве сущности эти формы-фавориты выделяются не больше, чем любой другой член бесконечного континуума. Всякая дурная вещь (дурна потому, что она ложна по отношению к идеалу, который ее собственная природа может предложить ей, (проясняет сущность точно так же, как если бы она была хорошей. Никакая сущность, исключая временные и случайные совпадения, не является целью какого-либо естественного процесса и еще менее (ее движущей силой).

Таким образом, различение сущностей, подтверждая платоновскую логику в ее идеальном статусе, который она придает терминам дискурса (дискурс включает все ментальное в ощущении и восприятии), разрушает иллюзии платонизма, потому что показывает, что сущности, будучи не-существующими и всемодалными, не могут господствовать над материей, а сами обнаруживаются в природе или мысли только тогда, когда их может потребовать и выбрать материальная необходимость. Царство сущности (это совершенная демократия, где все, что существует, и все, что может существовать, имеет право гражданства, так что только некоторые произвольные экзистенциальные принципы (будем называть их предрасположенностями материи или слепотой абсолютной воли (могут рассматриваться ответственными, если прибегнуть к вербальной метафизике, за то, каковы вещи, побуждающие их принимать то одну, то другую форму или выбирать скорее одну, чем другую сущность, в качестве их типа и идеала. Эти избранные типы в царстве сущности окружены всеми монстрами, всеми уникальными существами, всеми пороками, но не более порочными, не более аномальными или чудовищными, чем любая другая природа. По отношению к этой бесконечной сцене даже звездная пыль современной астрономии с ее страшными ритмами и законами и загадочным избытком представляется самой любопытной из случайностей; как сделать выбор для этой действительности, когда тут могло быть что угодно другое! А какую уютную вселенную представляли как свое окружение люди античности и большинство людей в своих повседневных мыслях, возглавляемую Олимпийскими богами, или еврейским Богом, или немецкой Волей, (все это не только вымысел самого смехотворного эгоизма, но если бы она случайно оказалась реальным миром, он был бы абсолютно случайным и эфемерным.

Это один из гигиенических эффектов открытия сущности: это холодный душ для мечтательного моралиста. Он очищает платонизм от суеверия.

С другой стороны, распознавание сущности восстанавливает сократовский анализ знания, показывая, что сущности являются необходимыми терминами восприятия фактов, делая возможным транзитивное знание. Если бы не имелось никаких чисто идеальных качеств, не представленных интуиции ни экзистенциально, ни как элемент разума, ни как элемент окружения, нельзя было бы вообразить ничего лежащего по ту сторону, тем более познанного истинно. Каждый предполагаемый пример знания был бы либо ощущением без объекта, либо чем-то существующим без отношения к разуму. Сущность, данная в интуиции, будучи сама по себе не-существующей и ни в коем случае не обозначающая объект, на который направлено внимание животного при его настороженности или во время преследования, может стать описанием этого объект. Если вообще должен существовать интеллект, то непосредственное должно быть средством его движения. Это имеет место, когда животное воображение направлено на описание вещей; ибо при этом пассивная чувствительность предлагает элементы, которые сами по себе неуловимы и не привязаны к определенному месту. Эти элементы могут распространяться как имена, чтобы окрестить вещи, которые их получают, привнося интеллект благодаря его направленности на свои объекты (объект, уже отобранный поведением животных) и сигнализируя сознанию животных об этих объектах при их появлении. Таким образом, то, что дано, превращается в знак того, что разыскивается, и в его условное описание. Объект, первоначально постулированный верой и целью в акте жизнедеятельности, может в конечном счете все более точно раскрываться верованию и мысли. Сущности являются идеальными терминами в распоряжении сложившегося языка. Если мысль вообще возникает, это должно происходить определенным образом; и сущности, которые она вызывает в интуиции, помогают ей

воображать, утверждать и, возможно, истинно познавать нечто о том, что не есть ни она сама, ни ее собственное условие: некую существующую вещь или отдаленное событие, которые в противном случае скрытым образом слепо происходили бы в своей среде, в лучшем случае заставляя животное врасплах или ставя его перед отсутствием цели. Но когда живое тело реагирует на обстоятельства и чувствительно к их изменению различными беспрецедентными способами, оно приобретает целый сенсуальный словарь для их описания, в котором цвета, звуки, формы, объемы, преимущества и недостатки становятся частями его грамматики. В зависимости от времени года оно чувствует тепло или холод таким образом, что холод и тепло становятся для духа знаками времен года (непритязательной поэзией, в которой чувства повествуют о значительных фактах и важнейших воздействиях природы. Возможно, что и у растительной души имеются свои сны, но у животного эти размытые видения проясняются наблюдениями и могут сравниваться и сопоставляться как по своей природе, так и по обстоятельствам; они предоставляют интеллекту термины, при помощи которых он осуществляет мышление и суждение. Игрушки чувств становятся валютой коммерции. Идеи, которые представляли собой всего лишь эхо фактов, служат их символами. Таким образом, интуиция сущностей впервые позволяет разуму высказать что-то о чем-нибудь, думать о том, что не дано, и вообще стать разумом.

Огромная польза открытия сущности, таким образом, состоит в том, чтобы объяснить понятия интеллекта и познания, которые в противном случае являются самопротиворечивыми, и показывать, как возможно для животного сознания эта трансценденция актуального.

Понятие сущности также полезно для того, чтобы покончить со спорным вопросом о первичных и вторичных качествах материи и передать его в ведение естествознания, к которому он относится. Это настоящая глубокая проблема, в которую не могут внести ясность ни логические уточнения, ни психологический анализ, а именно: проблема, что представляют собой элементы материи, как благодаря расположению и движению этих элементов массивные тела приобретают разнообразные свойства? Натурфилософы должны, если смогут, поведать нам, как устроена материя; поскольку они, подобно всем остальным, должны начинать с изучения свойств и поведения обычных тел, сопоставимых по масштабу с человеческими восприятиями, будет только справедливо предоставить им время, вплоть до бесконечности, чтобы они могли прийти к определенным выводам. Но вопрос о первичных и вторичных качествах, как он обсуждается в современной философии, (ложная проблема. Она основывается на том представлении, что данные чувств могут и должны быть элементом объектов природы, или по крайней мере в точности подобны ее элементам. К примеру, объектом природы является хлеб, который я ем, и современные психологи предполагают, что этот объект состоит или должен состоять из моих тактильных ощущений, ощущения цвета, температуры, движения и удовольствия от поедания его. Однако вскоре выясняется, что удовольствие и цвет обратимы в зависимости от состояния моего аппетита и пищеварения, безотносительно к каким-либо изменениям в самом объекте. В процессе еды (что упустили из виду эти психологи), я определенно уверен в этом объекте, знаю его местоположение и продолжаю свидетельствовать его тождественность. Хлеб для животной веры и есть тот предмет, который я ем, являясь причиной его исчезновения для моей субстанциальной пользы, и хотя язык неуклюже выражает эту уверенность, которая глубже, чем язык, я могу перефразировать это, заявляя, что хлеб (это та субстанция, которую я могу есть и превращать в мою собственную субстанцию. Когда я беру и откусываю его, я определяю его тождественность и место в природе, а преобразуя его, я доказываю его существование. Если бы психологические критики опыта прошли мимо этой животной веры в факт, как они это делают в теории, сама их теория оказалась бы без точки приложения, они не понимали бы того, о чем они говорят, и на самом деле вообще не говорили бы ни о чем. Их данные не имели бы никакого места, никакого контекста. Фактически они продолжают неправомерно постулировать хлеб так, как это делают животные, а затем, пользуясь своим человеческим

умом, удаляют из его описания соответствующие цвет и удовольствие просто как воздействие на них, отождествляя сам хлеб с гипостазированным остатком их описания (формой, весом и плотностью. Но каким же образом могут некоторые данные, будучи постулированы, порождать другие, совершенно от них отличные, современные им или им предшествующие? Очевидно, что эти так называемые первичные качества являются всего-навсего теми сущностями, которые привычка или наука систематически использует для описания вещей; между тем вещи улетучились, а их описание, неважно в каких терминах, должно стать необоснованным и бесполезным. Всякое знание природы и истории стало игрой мысли, утомительным образом воображения, в котором тупое суеверие заставляет меня верить, что некоторые последовательности образов совершеннее, чем другие.

Вследствие того, что не выделены сущности, философы самыми разными способами разрабатывают бесперспективную идею, будто в чувствах нет, ничего, чего не было бы в вещах. Либо восприятие и познание (то есть животная вера) интерпретируются как интуиция, так что вещи должны быть наглядно скомпонованы из элементов человеческого дискурса, так как если бы их субстанция состояла из образом, сложенных как колода карт, или же идеи приходится трактовать как привнесенные из внешнего мира и продолжающие качества вещей, как если бы органы чувств были просто порами в коже, через которые эманации вещей в готовой форме могли проникать в сердце или в мозг, в темных кавернах которых они могли бы, вероятно, противоестественно сочетаться, порождая чудовищное потомство фантазий и заблуждений, но на самом деле как для зрения, так и для мышления требуются сложные телесные механизмы, и ландшафт, каким его видит человек, не в меньшей мере человек, чем космос, каким его конструирует философия, (мы знаем насколько все это творение человека. Постепенно накапливаются свидетельства, доказывающие, что ни одно качество в объекте не является подобием какого-либо датума чувств. Ничто данное не существует. Например, рассмотрим воду, которая кажется холодной для одной руки и теплой (для другой. Какой следует называть воду (теплой или холодной? Безусловно, и той, и другой, если мы стремимся к полному описанию ее при всех отношениях и проявлениях. Но если то, что мы ищем, (субстанция воды, свойства, которые оказались относительными для моих органов чувств не могут быть "реальными" качествами" этой субстанции. Их источник (а предполагалось, сто они имеют источник) соответственно переносится в другое место. Вероятно, "реальный" холод может чувствоваться в теплой руке, а "реальное" тепло (в холодной или же, соответственно, в холодных и теплых проводящих участках мозга, или "в душе" (субстанции, которая может одновременно хранить тепло и холод в разных своих отделах. Или же, возможно, душа (это последовательность тепла и холода, каждое из которых является чувством, которое самостоятельно само по себе, однако в таком случае другая душа должна была бы наблюдать, помнить и заимствовать эти существующие чувства и вообще знать, что это такое. Если это (прошло, как может интуиция обладать ими сейчас? Если это наличные данные интуиции, должны ли они были существовать прежде и только в какой-нибудь другой форме, а не в той, в какой я воспринимаю их сейчас, хотя я их уже не воспринимаю?

Идея, что знание (это интуиция, что она должна достигать внутренних качеств объекта или вообще не располагать никаким объектом, кроме очевидного датума, не проведена с должной строгостью. Если бы это было сделано, от нее можно было бы вскоре отказаться. Даже отдающие наибольшую дань мифологии философы не считали, что рудиментарные витальные чувства, такие как удовольствие или голод, должны происходить от внешних источников того же качества. Платон в одном месте говорит об уме, что на необъятных небесах должны разливаться его потоки, подобно разлитым там потокам света, откуда ничтожный человек может заимствовать свою скромную долю. Однако он отказывается распространить этот принцип на боль, удовольствие или голод. Он не утверждает, будто мои жалкие страдания и удовольствия могут быть чем-то иным, чем каплями, которые мы впитываем из огромного космического резервуара этих чувств, или что испытываемое мной кратковременное чувство голода никогда не могло само создать свои свойства, а должно

быть только частью божественного голода, вечно терзающего все небо, перенесенной в мой смертный живот. Но это именно тот принцип, согласно которому, как считали и продолжают считать его искренние почитатели, свет, пространство, музыка, разум должны пронизывать космос, как представляет им это их интуиция.

Это (детская иллюзия, и если мы уже однажды выявили сущность, она представляется странным объектом поклонения. Сущности, данные в интуиции, не скопированы с какого-то прототипа. Разум, музыка, пространство и свет моего воображения (сущности, не существующие нигде. Их интуитивное восприятие столь же духовно и личностно, как боль, наслаждение, голод, и столь же мала вероятность того, что они взяты на каком-то складе подобных сущностей в большом мире. Это маячные огни моего воображения, подобные другим элементам дискурса. Им не нужно предварительно существовать ни в объектах, ни в органах чувств. Вообще не существуя, они не могут быть причинами своего появления. Ни впрыскивание под кожу существующего треугольника, ни придание мозгу треугольной формы нимало не поможет представить треугольник интуиции. Но если некая материальная вещь, называемая треугольником, будет помещена передо мной на соответствующем расстоянии, мои глаза и мозг сделают все остальное, и дорогая Евклиду сущность предстанет перед очами моей души. Никакая сущность никогда не явится просто потому, что в мире существует множество ее гипостазированных примеров; живое тело должно породить интуицию и в ней продолжиться, вызывая определенный спонтанный образ. Разум (это способность давать имена при наличии раздражения. Всякое восприятие и мысль (это возгласы и толкования, извлеченные из души живого существа. Они самобытны, хотя и не новы. Подобно чувствам влюбленных; нормальные стадии развития животных, жизнь которых содержит в себе этот внутренний поток образов и тенденций воображения, смешанный со слабыми и сильными эмоциями и монотонными телесными ощущениями: ничто во всем это дискурсе не является пассивной копией каких-нибудь существований. С другой стороны, если так называемые первичные качества, представленные как пространственные образы, являются такими же символами, как вторичные, то вторичные, рассмотренные как индикаторы, являются столь же истинными, как первичные. Они тоже описывают какие-то особенности в объекте, которые имея отношение ко мне, могут иметь огромное значение, а имея отношение к чему-нибудь в строении объекта, могут быть важным индикатором его природы, подобно зеленому цвету у винограда. Качества, в наибольшей степени относительные и обратимые, подобно таким, как приятное и неприятное, хорошее и дурное, являются подлинными качествами вещей в определенных отношениях. Все они могут стать, посредством благоразумного критицизма и оценки, истинным выражением жизни природы. В определенное время у них есть входы и выходы, и, будучи чисто субъективными, они открывают панораму мира или представляют карикатуру на него, которые не менее интересны и выразительны оттого, что они результат чистого эгоизма. Художники занимают свое место, и животная душа является одним из художников.

Есть поговорка, что подобное познается подобным, и, как всякое утверждение, иногда оно справедливо, впрочем, как и противоположное ему. Сходные умы могут понимать подобные вещи и могут понимать друг друга в этом смысле, они могут разделять мысли друг друга, предугадывать их. Это происходит, потому что сходные органы при аналогичной стимуляции порождают сходные интуиции, обнаруживающие ту же самую сущность: подобное познает подобное благодаря действительному со-чувствию и идеальной согласованности. Но в чувственном восприятии несходное познает несходное. Здесь нет приспособления органа к похожему органу подобно настройке клавиш инструментов: скорее здесь имеет место приспособление к разнообразным событиям вокруг или отдаленным фактам разного масштаба; образы, опосредующие это знание, совершенно несхожи с обозначаемыми ими событиями. Нелепо было бы ожидать, чтобы цветок имитировал или копировал почву, климат, влажность, свет или даже семя и сок, которые определяют развитие его ростка: но цветок требует все эти действующие силы в качестве

предварительного условия и даже является их индикатором - индикатором, который может стать знаком и средством познания, если он используется аналитически мыслящим наблюдателем в качестве определенного признака. Каждая данная сущность обычно является истинным знаком объекта или события, которые привлекают внимание животного, когда проявляется эта сущность: как вполне истинно то, что мышьяк ядовит, так и то, что перец обжигает, хотя свойства быть жгучим или быть ядовитым едва ли могут быть составными частями этих субстанций или копиями этих частей. Окружение определяет условия, при которых возникают эти интуиции, психея (наследственная организация животного (определяет их форму, а первоначальные условия жизни на земле, несомненно, определили, какие психеи возникнут и получат распространение. Возможно, многие формы интуиции, которые не в состоянии вообразить человек, представляют другим животным умам факты и ритмы природы, в которых она как бы комментирует саму себя. Считать, что некоторые из этих комментариев являются поэтическими, а другие (буквальными, нет оснований. Можно предполагать, что все они являются по форме поэтическими (интуиция (поэзия в действии) и все они экспрессивны по функции, обращены к фактам природы в своего рода человеческой и моральной перспективе, как и поэзия.

Абсурдность стремления обладать интуициями вещей достигает своей кульминации, когда мы спрашиваем, будут ли вещи, если никто не смотрит на них, выглядеть так же, как обычно. Безусловно, они будут тем, что они есть, но будет ли их внутренняя сущность в зависимости от того, смотрят ли на них или нет, похожей на подобные сущности, которые могут разглядеть глаза того или другого вида, смотрящие на них, (это пустой вопрос. Не подобие, а соответствие или уровень адаптации делают язык выразительным, а выражение (истинным. Мы прочитываем природу подобно тому, как англичане привыкли читать поллатыни, произнося слова в соответствии с английским произношением, но хорошо их понимая. Если бы были утрачены все традиции латинской эуфонии, не было бы никакого способа выявить, в каком отношении английское произношение является искаженным, хотя здравомыслящий человек и предполагал бы, что римляне ведь не могли говорить с оксфордским акцентом. Так, каждый вид животных, каждое чувство, опыт и наука на любой своей стадии читают книгу природы в соответствии со своей фонетической системой, не имея никакой возможности заменить ее на естественные звуки. Однако это положение, безнадежное в одном отношении, в отношении практики является удовлетворительным и к тому же иногда просто забавным, и делает опыт более разнообразным, даже если не более веселым; возможно, доморощенный акцент, как при изучении латыни, делает обучение более привычным и привлекательным, приохочивает нас к чтению.

Именно благодаря тому, что образы, данные в ощущениях, столь своеобразны и причудливы, понимание может увеличивать знание, корректируя, комбинируя или игнорируя эти явления. Чувственные качества, подобно прозвищам, хороши дома, когда требуется не последовательное и точное описание вещей, а только известные сигналы. Однако, если речь идет об общественных занятиях, должны применяться более серьезные и общепризнанные символы, и они образуют то, что мы называем наукой. Здесь описание является не менее символическим, но более точным и подробным. Оно может также быть связано (как в оптике и психологии (с тем, что обнаруживается отличие образов чувств от их первичного назначения служить живым отражением вещей, и мы можем тогда также осознать, что наш непосредственный опыт (не что иное, как трамплин для прыжков в воду, о чем мы едва ли догадывались, стоя на нем перед тем, как погрузиться в мир. На самом деле это была, по сути, теоретическая высота, пункт, служивший для того, чтобы подкрепить и подготовить нас к этому погружению. Символы чувств поэтому в наибольшей степени соответствуют своим объектам на определенном расстоянии, в тех масштабах, в которых мы сталкиваемся с ними в нашей повседневной деятельности. В науке аналогии и гипотезы не в меньшей степени, чем микроскопы и телескопы, предоставляют нам идеи о более близких и более отдаленных вещах. Так, тепло и холод, ощущаемые одновременно в одной и той же воде, более непосредственно информируют меня об отношении воды к моим рукам, чем о моей

температуре, моем мозге, моей интуиции, хотя эти вещи также вовлечены в это событие и могут быть обнаружены в нем наукой. Но наука и ощущения, хотя и различаются по своим возможностям, совершенно подобны в отношении своей истинности; и воззрения, развиваемые наукой, хотя они более глубоки и обширны, тем не менее представляют собой все же воззрения: основные планы, вертикальные разрезы и геометрические проекции замещают мгновенные образы. Все интуиции, чувственные ли они или мыслительные, являются теоретическими. Все они являются соответствующими представлениями обстоятельств, из которых они появились, на основе определенного метода и в определенной шкале и могут быть использованы для истинного описания этих обстоятельств, но, как и при использовании любого языка или техники искусства, требуется опыт и умение в употреблении уже готовых символов и для приведения в соответствие образа и обстоятельства, слова и факта.

Понятие сущности также приносит облегчение философу, уставшему от многих других проблем, (еще в большей мере схоластических и искусственных, (относительно ощущений и идей, частного и общего, абстрактного и конкретного. В сущностях, как они даны, таких различий не содержится: все они одинаково непосредственны и одинаково бестелесны, одинаково непосредственны и одинаково совершенны. Ничто не может быть более действительным и специфическим, чем какое-нибудь неприятное внутреннее чувство, вместе с тем ничто не может быть в меньшей степени наглядным в отношении чего-либо дальнейшего или более неуловимым в своем значении, быть более эфемерным показателем процессов и событий, которые оно не раскрывает, но из которых состоит вся его субстанция. Самая ясная идея (например, геометрическая сфера (и вместе с тем самая далекая от ощущений (если под ощущениями мы имеем в виду образы, актуально представляемые внешними органами чувств) является именно таким свободно проносящимся мимо наличием, схватываемым и снова утрачиваемым, сущностью, которая сама по себе ничего мне ни говорит ни о своей обоснованности, ни о мифе фактов, где она могла бы быть применена. Все эти преходящие различия являются внешними по отношению к сущностям, которые представляют собой только данные опыта. Эти же различия заимствованы из разнообразных внешних отношений, существующих между фактами, некоторые из них принадлежат сфере психики, другие (материальной сфере, но ни одно из них никогда не бывает дано в интуиции. Психологи не проводят различия между фактами психики, а именно между теми интуициями, в которых являются сущности, и самими этими сущностями, и то и другое может называться одними и теми же именами; двойная двусмысленность, которая впоследствии позволяет метафизику посредством двойного гипостазирования датума утверждать, что материальная вещь и психическое явление представляют собой один и тот же данный факт. Мы можем простодушно говорить о данных фактах, имея в виду факты, постулированные в предыдущих восприятиях, или те факты, о которых шла речь в предыдущем дискурсе, однако никакой факт не может быть данным фактом в смысле датума интуиции. Эти различия целиком и полностью основываются на отношениях между фактами, которые не даны. Часто они могут действительно выражать относительные пределы интуиций или тот способ, с которым они занимают свое место в общих событиях природы или возникают в теле животного. Однако в отношении сущностей, которые представляют собой исключительно термины действительной мысли, они совершенно неприменимы.

Предположим, например, что я вижу желтое, что мои глаза открыты и что передо мной цветок лютика; в этом случае моя интуиция (а не сущность "желтое", которая является датумом) называется ощущением. Если я снова вижу желтое, но с закрытыми глазами, интуиция обозначается как идея или видение, хотя нередко в том, что обозначается как идея, желтое не появляется, это только слова. Если же я вижу желтый цветок с открытыми глазами, но лютика нет, интуиция называется галлюцинацией. Эти различные ситуации представляют интерес и заслуживают различия в оптике и медицинской психологии, но они не имеют значения для рассмотрения опыта с позиции скептицизма. Какое знание я могу

получить, когда я просто вижу желтое: открыты мои глаза или закрыты, бодрствую ли я или сплю, какие функции могут быть характерны для лютиков в психофизической корреляции, есть ли в мире что-либо физическое или что-либо психическое, существует ли вообще мир? Эти идеи (чисто конвенциональны, они представляют собой приобретенные знания или приобретенные иллюзии. Эти внешние обстоятельства независимо от того, истинны ли они или ложны, не могут ни в малейшей степени изменить сущность, которую я имею перед собой, ни характер ее реальности, ни ее статус по отношению к моему интуитивному восприятию ее.

Предположим на этот раз, что я на море и чувствую, что корабль качает. Это чувство называется внешним восприятием, но если я чувствую тошноту, мое чувство называется внутренним ощущением или эмоцией, или интроспекцией, но есть незадачливые психологи, которые отсюда делают вывод, что в то время как качка корабля является чем-то физическим и просто явлением, тошнота (нечто психическое и абсолютно реальное. Откуда эта предвзятость в распределении метафизических достоинств между одинаково очевидными вещами? Каждая сущность, которая является, является именно такой, какая она есть, поскольку ее явление определяет все ее бытие, которым она обладает и которое есть она. Ничто данное не является ни физическим, ни психическим в том смысле, что по своей природе, является вещью или мыслью, это именно качество бытия. Сущности (такие, как "качка"), которые в конечном счете будут использоваться для описания материальных фактов, даны в интуициях, которые являются ментальными в такой же мере, как те, которые предоставляют психологические термины для описания ментального дискурса. С другой стороны, сущности (такие, как "тошнота"), возможно, применяемые в первую очередь для описания дискурса, в такой же мере отмечают переломные моменты в течении природы, как те, которые непосредственно применяются для описания материальных фактов, поскольку дискурс имеет место в животных, которые подвергаются материальному воздействию. Но в обоих случаях интуиции - которые образуют дискурс и психическую сферу (не могут быть даны интуиции. Они положены в памяти, в ожидании, в психологии эмоций (dramatic psychology). Качка, которую я ощущаю, называется физической, поскольку сущность передо мной (например, пересечение цветных плоскостей (служит для регистрации и обозначения гораздо более сложных и продолжительных движений корабля и волн, а тошнота, которую я тоже испытываю, называется психической, поскольку она ни о чем не сообщает (если только не вмешивается, с явно преобладающим чувством времени, изменения и опасности, поскольку она в значительной мере состоит в ощущении того, как это долго продолжается, как я расстроен, как плохо я себя чувствую.

Опять-таки, если я однажды вижу желтое, мой опыт обозначается как конкретное впечатление, и его объект (желтое существует итак же конкретен, но если я снова вижу желтое, оно таинственным образом становится универсалией, общей идеей и абстракцией. Но для интуиции datum всегда остается в точности тем же самым. Никакая сущность не является абстрактной, но ни одна из них также не является и конкретной вещью или событием, ни одна из них не является объектом веры, восприятия или стремления, занимающими определенное положение в контексте природы. Даже интуиция, хотя она является событием, не может стать объектом влечения или восприятия; и ее условное место в истории, если ее постулировали, и верили, что она имела место, приписывается ей только из вежливости по месту и времени ее физической поддержки, подобному тому как в некоторых странах жена берет себе фамилию мужа. Воспринимаемыми частностями являются не данные интуиции, а объекты животной веры, только они являются существующими вещами или событиями, на которые реагирует животное и которым оно приписывает сущности, которые при этом возникают в его воображении. Эти данные интуиции являются универсалиями; они образуют элементы такого описания объектов, какое возможно в данное время. Но они никогда не являются ни самим этим объектом, ни какой-либо частью его. Сущности не выводятся и не абстрагируются из вещей; они даны до того, как вещь может быть четко воспринята, поскольку они являются терминами, используемыми в восприятии;

однако они не даны до тех пор, пока внимание не направлено на вещь, которая слепо предполагается в процессе действия; они выступают как откровения или как оракулы, посылаемые данной вещью душе и представляющие ее там символически. Сама по себе, как может по размышлению позволить нам признать взвешенное суждение, каждая сущность является позитивным и цельным предметом. Не может быть, чтобы для опыта что-либо могло быть более конкретным или индивидуальным, чем это точное и цельное явление передо мной. Поскольку эти сущности никогда не были частью каких бы то ни было воспринимаемых объектов, невозможно, чтобы они были абстрагированы из них. Поскольку они являются очевидными и непосредственными данными, им даже не может быть присуще такое врожденное несовершенство, как хромота, которую мы можем чувствовать в сломанном колене или в части чего-то уже знакомого, как целое; но данные сущности действительно являются воображаемыми, они несубстанциальны. В этом смысле они представляются чуждыми и неестественными животному, намеревающемуся действовать среди вещей, не осознавая их как явления. Какими бы призрачными ни представлялись они его инстинкту, они являются совершенными образами, не содержащими ничего абстрактного и скрытого в своей специфической природе. Абстрактное представляет собой категорию, вторичную по отношению к интуиции и применимую только к терминам, таким как числа и другие символы математики, целенаправленно замещающие другие сущности, данные ранее, которые их подсказали. Но даже эти технические термины являются абстрактными только случайно и по своей функции; они обладают собственной конкретной сущностью и являются конститутивными элементами четко определенных структур в своей собственной сфере бытия, образуя формы и градации, подобно музыке.

Подобным образом ничто, данное в ощущениях или в мыслях, само по себе не является ни в малейшей степени неотчетливым. Неопределенность является случайным качеством, о котором можно сказать, что данное явление обладаем им в отношении к объекту, предположительно относящемуся к другой сфере детерминации, подобно тому как в Гамлете облако (это только неясный верблюд и неясная куница, а для художника-пейзажиста (это вполне определенное облако. Неопределенное (это слишком неопределенное только для какой-то предполагаемой цели, и философы, которым присуща мания точности, которые считают неопределенным всякий дискурс, если это дискурс относительно чего-либо из мира практики, подобны критикам, которые считают все цвета и формы неопределенными, если их коснулась воздушная перспектива или если они опозитизированы богатой палитрой воображения и экспрессии. Такого рода неопределенность представляет собой совершенство суждения, ибо знание заключено в том, чтобы становиться подобными им. Если бы стандартом артикуляции в науке была артикуляция существования, наука была бы недоступна живой душе, а если и была доступна, то была бы бесполезна, потому что мысль ничего не приобрела бы для себя благодаря мысленному представлению механизма, без адаптации его масштаба и перспективы к природе мыслящего.

Если инстинкты человека были бы хорошо приспособлены к его условиям, его мысли не казались бы путанными, хотя и не будучи более точными. Фактически интуиция является наиболее живой при погоне или в случае опасности как раз тогда, когда возможны ошибки, и любая очевидная сущность может быть скоропалительно связана с объектом. Если объект не удостоверит ее, возникнет конфликт, и она будет оставлена. Сущность, какой бы очевидной она ни была, может быть даже объявлена несуществующей или непостижимой, если она не может быть целиком и полностью сопоставлена с субстанцией объекта, за которым ведется охота, который затем пожирается. Голодный номиналист может сказать себе: "Если окраска фаза не представляет собой составную часть птицы, откуда он ее взял? Разве я не смотрю на то самое существо, за которым гонюсь и надеюсь теперь съесть? Если мои зубы и руки наверняка ничего не могут добавить к субстанции, в которую они вцепятся, каким образом могут сделать это мои глаза сейчас? Поэтому, если какой-либо предполагаемый образ не может быть утвержден как составная часть моего объекта, я, должно быть, ошибаюсь, предполагая, что я вообще вижу такого рода образ". Такова же аргументация примитивного

художника, который, зная, что у человека два глаза, а на руках по пять пальцев, не может согласиться с тем, что его образ может быть не таким полным. Таким образом, палочка этой королевы Мэб, интуиции, преобразуется крайней материалистической философией в язык или в щупальца и нужна для того, чтобы дотягиваться до объекта и ощупывать его, выявляя его внутренние свойства и структуру. Но это волшебная палочка, и она вызывает только фантастические и бессмысленные видения, забавные и созданные хорошим настроением. Если философ когда-либо воображает, что он постиг находящуюся перед ним вещь в действии, значит, эта палочка ударяет его по носу. Интуиция обманывает, будто оно обогащает его, а природа, которая нашептывает ему на ухо все эти сказки, смеется над ним и одновременно расточает ему ласки. Правда, это благой вымысел, потому что мечты, которые природа пробуждает в нем, очень ему по душе, и вымыслы, которые она сочиняет для его блага, (шедевры ее искусства. Люди практики презирают поэзию поэтов, но им нравится их собственная поэзия. Они станут стыдиться развлечений, которые могут противоречить их устремлениям, вводить их в заблуждение относительно течения событий, но они всей душой отдаются бесхитростным обманам чувств, которые они почти признают за фикции, и даже ранним мифам и религиям человечества. Их они считают достаточно истинными для практически и моральных целей. Их игровая форма является удобным резюме для фактов, которые слишком сложно понять. Это обычная поэзия наблюдения и поведения. Воображение дезорганизует поведение, только если оно дает выражение пороку, но и в этом случае этот порок творит зло, а не воображение.

Даже философы, когда они стремятся к простоте и экономии, иногда приходят к отрицанию непосредственного. Это обожествление фактов, представляющее собой преклонение перед рассудительностью, и настраивает их против их собственных чувств, и против разума, которому служит рассудительность, если она вообще служит чему-нибудь. Наверное, они объявляют о своей неспособности упорядочивать образы с помощью меньшего числа определений, чем, по их мнению, обладают материальные вещи. Если материальный треугольник должен иметь четко определенную форму (хотя при непосредственном рассмотрении материя может уклоняться от подобных ограничений) или если материальный дом должен иметь определенное число кирпичей и определенный оттенок цвета в каждой точке своей поверхности, то откровенный эмпирик, подобно Беркли, будет склонен отрицать, что он сможет располагать идеей треугольника без подобных определенностей зрительных образом, *et cetera*. В то же время, однако, каким бы четкими ни были его зрительные образы, определено, что он никогда не мог бы иметь, даже в непосредственном восприятии, образ, точно определяющий все кирпичи или все оттенки любого дома, или точную меру любого угла. Сам Беркли, как я подозреваю, тайно ориентировался на сущность, которая в каждой степени своей условной определенности является своим собственным стандартом полноты. Но данные сущности имеют любую степень неопределенности по отношению к материальным или математическим объектам, которые они могут символизировать и которым Беркли хотел уподобить их в своем непродуманном номинализме. Он почти превратил данные сущности в субстанции, чтобы они заняли место тех материальных вещей, которые он отрицал. Каждая сущность, безусловно, не может быть двумя противоположными сущностями одновременно, но определения, делающие каждую сущность именно тем, что она есть, лежат в царстве сущности, бесконечном континууме дискретных форм, а не в царстве существования. Сущности, чтобы являться, не должны просить позволения у того, что существует, или рисовать его портрет, тем не менее здесь они имеются в таких градациях и в таком числе, какие только может предоставить им интуиция. Их корни в материи или их значения в познании могут быть открыты не путем их гипостазирования.

Таким образом, выявление сущностей способствует благоприятной тенденции либерализации философии и освобождения ее сразу и от буквализма, и от скептицизма. Если все данные являются символами, а весь опыт выражается в поэтических терминах, то человеческий ум как в своем существовании, так и в своих свойствах является свободным

развитием вне природы, языком или музыкой, термины которых произвольны, подобно правилам и счету в игре. Отсюда также следует, что разум, является истинным выражением мира, представленным в витальной перспективе и в человеческих отношениях, потому что этот разум возникает и характерно изменяется в определенных очагах животной жизни, очагах, которые являются частями природы в динамическом соотношении их с другими частями, широко распространенными вокруг них таким образом, что, например, альтернативные системы религии или науки, если не брать их буквально, могут одинаково хорошо выражать действительное положение вещей, оцениваемое различными органами или в различных центрах.

Глава XI

ВОДОРАЗДЕЛ КРИТИЦИЗМА

Я подошел к кульминации моего обзора доказательств, и те затруднения, которые я оставил позади себя, и обитаемые области, к которым я стремлюсь, распростерлись передо мной подобно противоположным сторонам долины. С одной стороны, я вижу всеохватывающее основания для скептицизма, помимо и сверх всех частных противоречий и нелепостей догмы. Мни никогда не было дано ничего, кроме определенной сущности, так что ничего из того, чем я располагаю в интуиции, или действительно вижу, там не было и нет: оно ни при каких условиях не может иметь ни телесного существования, ни находиться в этом месте, ни проявлять ту силу, которая принадлежит объектам, обнаруживающимся в действии. Следовательно, если я рассматриваю свои интуиции как знание фактов, весь мой опыт является иллюзией, а жизнь подобна сну. В то же время теперь я в состоянии дать более понятный смысл этому древнему присловию, ибо жизнь не была бы сном, а весь мой опыт не был бы иллюзией, если бы я удержался от веры в них. Свидетельства данных (всего лишь очевидность, они не свидетельствуют ни о чем другом. Они (не доказательства. Если я удовлетворюсь тем, что признаю их чистыми сущностями, они не смогут ввести меня в заблуждение; они будут подобны произведениям художественной литературы, более или менее целостным, но не предьявляющим каких-либо претензий на независимое существование. Если я наделяю сущность самостоятельным бытием в качестве факта, инстинктивно приписывая ей связи, которые в ней не содержатся, я полагаюсь на животную веру, а не на свидетельство или заключение моего действительного опыта. Я обращаюсь к предполагаемому миру вокруг меня, потому что обладаю органами для этого, так же как я ожидаю непрерывного продолжения времени, потому что я сам задуман как наведенный на то, чтобы продолжать свой путь. Никакая явная сущность не может предоставить никаких доказательств, подобных внешним вещам. Они должны обосновывать себя сами. Если внешний факт где-то является интуицией, ее существование, если она существует, обоснует эту веру, но исполнение моего предсказания, принимающего мое наличное видение за свидетельство этого внешнего опыта, будет найдено только в царстве истины (царстве, которое само является объектом веры, никогда недоступное возможной интуиции, человеческой или божественной. Таким же образом, когда предполагаемый факт мыслится как субстанция, его существование, если он обнаруживается в царстве природы, оправдывает это предположение; однако, безусловно, царство природы является всего лишь другим объектом веры, более отдаленным от интуиции, если она возможна, чем даже царство истины. Поэтому интуиция сущности, которой исчерпывается положительный опыт и определенность, всегда является иллюзией, если мы позволяем присущему нам импульсу гипостазирования принимать ее за свидетельство чего-либо другого. Этот вывод столь многих философов, что все есть иллюзия, я, однако, принимаю с двумя оговорками. Одна имеет исключительно эмоциональный и моральный характер, поскольку я не удручен ее фатальностью, а, напротив, предпочитаю спекуляцию в царстве сущности, если ей можно предаваться без каких-либо практических неудобств (мнимой информации относительно твердых фактов. Мне не представляется постыдным быть поэтом, если природа неожиданно создала кого-то поэтом. Неожиданно природа наделила нас

существованием, и если она сделала это при условии, что мы станем поэтами, значит, она не запретила нам наслаждаться этим искусством и даже гордиться им. Вторая оговорка является более жесткой: она заключается в том, что исключения не допускаются. Я не могу допустить, что какая-то конкретная сущность (вода, огонь, бытие, атомы, Брахма (является внутренней сущностью всех вещей, так что, если я ограничу мое воображение только одной из этих интуиций, я буду обладать интуицией сути вещей и целостности их существования. Конечно, я не отрицаю, что имеется вода, что имеется бытие, первое содержится в большинстве предметов на земле, последнее (во всем и повсюду, но эти мои образы или слова являются не вещами, которые они обозначают, а только их именами. Эти слова могут быть случайно или частично уместны, но не имеют никакого метафизического преимущества; не больше преимуществ имеет установка некоторых современных критиков, которые иллюзию принимают за целое и называют ее вселенной. Во-первых, они, по-видимому, возвращаются к вере в дискурс, которые они понимают традиционно, так что их скептицизм хромает. Во-вторых, даже если можно допустить, что опыт людей известен и обоснован, будет невероятно самонадеянно утверждать его как целостное бытие или же ограничивать его теми формами и пределами, которые приписывают ему критики. Жизнь разума, как я понимаю ее, (это всего лишь роман, а жизнь природы (всего лишь сказание. Подобные образы не имеют никакой метафизической ценности, хотя, как успокаивающие вымыслы, они содержат некоторую психологическую истину.

Доктрина сущности, таким образом, делает мой скептицизм непобедимым и цельным и вместе с тем эмоционально примиряет меня с ним.

Если теперь я обращаюсь в другую сторону и рассматриваю перспективы, открывающиеся перед животной верой, я вижу, что эта ненадежность и неадекватность предполагаемого знания почти не касаются естественных усилий ума описывать естественные вещи.

Разочарование, которое мы можем испытывать в науке, происходит не из-за ее неудачи, а из-за ложного понимания того, в чем состоит ее успех. Наши самые большие трудности проистекают из предположения, что знание существований должно быть буквальным, в то время как в знании существований нет ни необходимости, ни предрасположенности, ни подготовленности для того, чтобы быть буквальным. Первоначально оно является символическим, когда звук, запах, чувства, которые не поддаются описанию, оказываются для животного сигналами об опасностях и возможностях, и оно прекрасно выполняет свою функцию (я имею в виду моральную функцию просвещения нас относительно нашего естественного блага (если оно остается символическим до конца. Может ли что-либо быть более очевидным, чем то, что религия, язык, патриотизм, любовь, сама наука говорят символами? Данные сущности объединяют для интуиции рассеянные явления природы посредством совершенно случайных человеческих терминов; эстетический образ (звук, цвет, протяжение, аромат, вкус, мягкое или жестко давление тел (заключает в себе аспект в котором совершенно отсутствует сходство с механизмами, которые он представляет.

Ощущение и мысль (между которыми нет никакого существенного различия) действуют в той же условной среде, что литература и музыка. Переживание сущности является прямым, выражение естественных фактов в этой среде (косвенным. Но эта опосредованность не препятствует выражению, скорее является его условием: это опосредованное проявление вещей может быть знанием о них, чем интуиция сущности быть не может. Театр, при всей своей условности, изображает жизни в определенном смысле вернее, чем история, поскольку этому средству выражения присуще движение, подобное движению реальной жизни, хотя и в искусственном обрамлении и форме. В значительной мере этим же способом средства выражения человеческого знания могут осуществлять надлежащий синтез и представлять надлежащее сообщение лучше всего, когда оно открыто покидает плоскость своих объектов и выражает в символах то, что нам нужно знать о них. Искусство выражения было бы невозможно, если бы оно не было продолжением обычного человеческого восприятия. Греки считали, что астрономией и историей руководят Музы, сестры Муз трагической и комической поэзии. Если бы они были настолько психологизированы, как современная

рефлексия, они могли бы также меть Муз зрения, слуха и речи. Я считаю, что они высоко ценили, хотя и не выражали его прямо, также тот дополнительный факт, что все Музы, даже те, которые в большей мере представляют искусство, свидетельствуют и о природе вещей. Искусства являются свидетельством мудрости и ее источником; они включают и науку. Никакая Муза не имела бы влияния на людей и не была бы достойна почестей, если бы она ревностно не выражала истину природы со свободой и грацией, присущими ее особому гению.

Философы не упустили бы из виду тот факт, что знание является и должно быть символическим, если бы также не существовала интуиция, дарующая им знакомство с чем-то, вкус чего они, возможно, считали более высоким и более убедительным. Интуиция, когда она спокойна и достаточно убедительна, чтобы оставаться независимой, свободной от тревог и заблуждений относительно фактов, является восхитительным занятием, схожим с игрой; она использует нашу способность воображения, не извращая ее, и позволяет нам жить, не подчиняясь обязательствам. Интуиция всегда зачаровывала беззаботный и богоподобный ум философов. Философы (я имею в виду великих философов (являются гениальными детьми рефлексии). Часто они делают своим единственным идеалом интуицию сущностей и хотят навязать его прозаичным мыслям людей. Они создают для себя воображаемый мир, которым так замечательно повелевать, подобно другим гениальным людям, продлевая деспотизм детства, продолжая так или иначе играть в политике и религии. Но знанию существования присущ совершенно другой метод и совершенно другой идеал. Оно также полно игры, поскольку его термины интуитивны, а его грамматика или логика зачастую крайне субъективны. Восприятие, теория, гипотеза стремительны, полны смысла, часто остроумны. Они вытаскивают факт за подол из какого-нибудь неожиданного уголка, дают ему кличку, которая может вызывать недоумение, например радуга ("дуга дождя" (rain-bow) или Большая Медведица. Однако в исследовании фактов вся эта игра разума служит всего лишь средством и указателем. Цель здесь практическая, наблюдательность серьезна, дух скромнен. Здесь разум сознает, что он находится в школе, что даже его фантазии робки. Его прозвища для вещей и для их необычного поведения подобны тем, которые сельские жители дают цветам: часто они выразительно описывают, как выглядят вещи и что они значат для нас. Наши идеи о вещах не являются их настоящими портретами; это политические карикатуры, сделанные в определенных человеческих интересах, но в какой-то мере они могут быть шедеврами характеристики и понимания. Важнее всего, что они дали трудом, исследованием того, что не дано, коррекцией одного впечатления другим, полученным от того же объекта (вещь, которая невозможна в интуиции сущностей. Поэтому они ведут к мудрости и в своих постоянных поисках обладают совокупной истиной.

Рассмотрим причину, по которой вместо культивирования врожденных интуиций человек может вообще втянуться в исследование природы. Это происходит потому, что вещи своим воздействием возбуждают его внимание и новую мысль. Эти внешние объекты интересуют его тем, что они делают, а не тем, что они собой представляют, знание о них является важным не потому, что она показывает интуиции сущность (какой бы прекрасной та ни была) а из-за событий, которые оно выражает или предвосхищает. Поэтому для соответствующего знания природы имеет небольшое значение то обстоятельство, что субстанция вещей будет оставаться скрытой и непонятной, если их движение и действие можно правильно определить в плоскости человеческого восприятия. Не имеет большого значения, если само их существование подтверждено только животной верой и презумпцией, поскольку эта вера постулирует существование, а эта презумпция выражает предвосхищающую преадаптацию животных инстинктов к силам среды. Функция восприятия и естествознания состоит не в том, чтобы превозносить чувство всезнания абсолютного ума, а в том, чтобы облагораживать животную жизнь, согласуя ее с ее условиями в действии и мысли. Неважно, если то новое знание о мире, которое могут принести нам эти методы, будет фрагментарным и риторическим. Важно, чтобы эта наука была объединена с искусством и чтобы искусства заменили, насколько это возможно,

господство случая господством человека над обстоятельствами. В этом не заключается никакой жертвы истиной ради полезности; напротив, это будет благоразумная ориентация любознательности на вещи, соразмерные человеку и попадающие в сферу искусства. Спекуляция за этими пределами контролироваться не может, и она безответственна; а символические термины, посредством которых она должна осуществляться, в лучшем случае, даже в узких пределах, являются наилучшими из возможных индикаторами соответствующих фактов. Все эти неточности и несовершенства свойственны точным знакам, которые должны быть краткими и отчетливо распознаваемыми.

Следовательно, полный скептицизм не является несовместимым с животной верой: допущение, что ничто данное не существует, является несовместимым с верованием в вещи, которые не даны. Я могу согласиться с увещаниями инстинкта и с робким доверием заниматься искусством, не дезавуируя по крайней мере самый строгий критицизм знания и не гипостазировав никаких данных чувств и воображения. Мне не нужно делать это с нечистой совестью, как, по-видимому, это делали Парменид, Платон и индусы, когда они признавали иллюзию или мнение в качестве эпилога своей жесткой метафизики на том основании, что в противном случае они не найдут дорогу домой. Я же стремлюсь сохранить свою познавательную совесть чистой, а мое практическое суждение здравым именно благодаря тому, что я не делаю уступок мнению и иллюзии, не уполномочиваю мои излюбленные сущности быть субстанциями вещей, ибо для того чтобы найти дорогу к дому, я ни в коем случае не должен позорно уступать какой-либо животной иллюзии; туда меня направляет не иллюзия, а привычка; и интуиции, сопровождающие привычку, являются нормальными знаками для круга объектов и сил, которые поддерживают эту привычку. Образы чувств и науки не введут меня в заблуждение, если вместо того чтобы гипостазировать их, как эти философы делают с терминами их диалектики, если рассматривать их как наглядные символы дома и дороги к нему. То, что эти внешние вещи существуют, то, что я сам существую и более или менее благополучно живу среди этих вещей, является верой, не основывающейся на разуме, а возникающей в действии и в той вовлеченной в восприятие установке, которая представляет собой возможное действие. Эта вера (не сознаться в том, что я ее воспринимаю, было бы бесчестным) не наносит никакого ущерба скептическому анализу опыта; наоборот, она использует в своих интересах этот анализ, чтобы истолковывать этот изменчивый опыт так, как делают и должны делать все животные (как совокупность символов для существований, которые не могут проникнуть в опыт, и которых не может затронуть никакой анализ знания, поскольку они не являются элементами знания, они находятся в другом царстве бытия).

Теперь я предполагаю рассмотреть, как объекты и в какой последовательности требуют от меня постулировать животная вера, ни на миг не забывая, что моя уверенность в их существовании только инстинктивна, а моя характеристика их природы имеет исключительно символический характер. Я могу знать их по интенции, основывающейся на телесной реакции; первоначально я знаю их как все, что противостоит мне, чем бы оно ни оказалось, так же, как я первоначально знаю будущее, как то, что наступает, не зная, что последует. То, что нечто противостоит мне здесь, сейчас и исходит из определенного направления, само по себе является важным открытием. Аспект, которым представлена эта вещь, когда она впервые привлекает мое внимание, хотя он может вводить меня в заблуждение в некоторых частностях, едва ли может не быть в определенных отношениях эффективным индикатором ее природы в ее отношении ко мне. Знаки отождествляют свои объекты для дискурса и указывают нам, где искать их еще неоткрытые качества. Последующие знаки, фиксируя другие аспекты того же объекта помогают мне подобраться к нему со всех сторон; но знаки никогда не приведут меня в самую цитадель, и если ее внутренние помещения когда-нибудь откроются мне, то это должно произойти посредством близкого по духу воображения. Я мог бы, благодаря какому-то счастливому согласию между мой воображением и порождающими его началами, созерцать сущность, которая действительно является сущностью этой вещи. В этом случае (что нередко происходит,

когда объектом является близкий по духу разум) знание существования, не переставая быть инстинктивной верой, будет таким полным и адекватным, каким только может быть знание. Данная сущность будет сущностью подразумеваемого объекта, однако знание по-прежнему останется притязанием на знание, поскольку интуиция не удовлетворяется пассивным наблюдением данной сущности, как сущности, не имеющей воплощения, но инстинктивно утверждает ее как сущность существования, противостоящего мне за пределами моего возможного представления. Поэтому самое совершенное знание факта является совершенным только как образ, а не доказательно, и до конца остается подверженным нестабильности, неотделимой от животной веры и самой жизни.

Животная вера, представляя собой нечто вроде ожидания и готовности, является более ранней, чем интуиция; интуиции приходят ей на помощь и поставляют ей материал для утверждения. Она всегда пребывает в полной готовности проглотить все, что предлагают чувства или воображение, и, по-видимому, примитивное легкое верие, словно бы во сне, не принимает во внимание никакие противоречия и несогласованности в следующих друг за другом воззрениях и полностью отдается любому образу. Тогда вера повисает как успокоившийся маятник, но когда затруднения заставляют этот маятник бешено раскачиваться, на какой-то миг он может, колеблясь, остановиться в точке неустойчивого равновесия на вершине, и это вертикальное положение можно сравнить с неограниченным скептицизмом; это более удивительное и более перспективное равновесие, чем всякое другое, поскольку его невозможно сохранять; однако прежде чем упасть из своего положения в зените и перестать вертикально направляться к нулю, маятник веры может на миг заколебаться, по какому пути ему падать, если на этой неудобной высоте он действительно потерял весь животный импульс и все прежние предрассудки. Прежде чем представить мои основания (которые являются не чем иным, как предрассудками, человеческими предрассудками (для веры в события, субстанции и в разнообразные истины, которые связаны с ними, неплохо бы остановиться, чтобы перевести дыхание, на вершине скептицизма и прочувствовать все отрицательные преимущества этой позиции. Сама ее возможность в ее полной чистоте весьма поучительна, и хотя я, со своей стороны, задерживался на ней только в ироническом смысле, отдавая дань методу и намереваясь сейчас же покинуть ее и вернуться к здравому смыслу, многие великие философы пытались акробатически удержаться на этой высоте. Они не добились успеха, но это невозможное положение может представлять собой, подобно горной вершине, прекрасную точку обзора, с которой при ясной погоде можно составить карту страны и выбрать местопребывание.

Глава XII

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КАК АТТРИБУТЫ СУЩНОСТЕЙ

Человеческие верования и идеи (которые в современной философии называются человеческим знанием) можно сгруппировать в различные последовательности или порядки. Одним из них является порядок генезиса. Происхождение верований и идей, как и всех событий, является естественным. Всякое начало находится в царстве материи, даже если порожденное таким образом бытие является нематериальным, поскольку сотворение или вторжение нематериального следует за материальными событиями и под влиянием обстоятельств. Это утверждение допустимо, хотя оно, возможно, и звучит догматично, поскольку нематериальное бытие, не соединенное таким образом с материальными событиями, было бы невозможно обнаружить. Ему было бы невозможно приписать никакого места, времени или других отношений в природе, и даже если бы оно случайно существовало, оно существовало бы только для самого себя, не представленное никому другому. Поэтому я должен распределить человеческие верования и идеи в царстве материи, в порядке событий животной жизни, если я хочу систематизировать их в порядке их генезиса.

Верования и идеи, пожалуй, можно также рассматривать в порядке открытия, как их

последовательно выделяют в сфере человеческой грамматики и мысли. Такого рода рассмотрение стало бы биографией разума, в которой я должен бы игнорировать внешние обстоятельства, в связи с которыми возникали верования и идеи, и анализировать только меняющиеся структуры, которые они, как в калейдоскопе, образуют перед очами разума. По-видимому, первыми в порядке открытия пойдут добро и зло, иначе романтический метафизик может обратить опыт в миф, относя добро и зло к трансцендентальной воле, которая будет соответственно провозглашать их таковыми (без каких бы то ни было оснований). Воля или моральные пристрастия фактически являются основой, на которой образы объектов постепенно расшифровываются пробуждающимся интеллектом. Все они первоначально появляются обремененными моральными ценностями и связанными с соперничающими лагерями и сторонами в поле действия. Открытие по своей природе романтично. В появляющихся объектах меньше ясности, чем страсти в их утверждении и выборе. Таким образом, жизнь разума (это предмет, который следует рассматривать, пользуясь воображением, и толковать каждому историку заново, с обоснованными видоизменениями, и если ни одна тема не является более близкой душе человека, поскольку это история его души, она, как никакая другая, является в такой сильной степени объектом игры апперцепции и драматичной предвзятости в изложении).

Наконец, верования и идеи могут быть расположены в порядке очевидности, и это единственный порядок, который интересует меня здесь. В любой момент жизни разума человек может спросить себя, как это делаю я в этой книге, в чем он больше всего уверен и во что он верит исключительно на основании молвы или каких-то соображений и импульсов, который можно отклонить или повергнуть в противоположную сторону. Могут предлагаться альтернативные логики или убеждения, воздвигнутые в различных архитектурных стилях на фундаменте совершенной определенности, если он существует. Я уже выяснил, в чем заключается эта совершенная определенность; к некоторому конфузу оказалось, что она наличествует в областях самого разреженного эфира. У меня нет полной уверенности ни в чем, кроме природы некоторой данной сущности; остальное (это произвольные верования или истолкования, добавленные моим животным импульсом). Очевидное оставляет меня беспомощным, ибо среди объектов в царстве сущности я не могу установить ни одно из тех различий, которые я более всего стремлюсь утвердить в моей повседневной жизни, такие как различие между истинным и ложным, далеким и близким, нынешним и давно прошедшим, тем, что будет когда-нибудь или через пять минут. Разумеется, там есть все эти термины, иначе я не мог бы их употреблять, однако она находятся там как наглядные образцы; каждый из них наличествует только по существу, при отсутствии каких-либо оснований для выбора, утверждения и для того, чтобы сделать его эффективным. Противоположные термины, если только мне угодно о них думать, почивают бок о бок с теми, на которые я первоначально наткнулся. Все сущности и сочетания сущностей представляют собой родственные формы в вечном ландшафте, и чем дальше я продвигаюсь в этой пустыне, тем меньше нахожу оснований, для того чтобы на чем-нибудь остановиться или следовать какому-то определенному пути. Охотно или с сожалениями, но если я хочу жить, я должен с открытыми глазами прийти в себя из этого транса, в который меня вверх безоговорочный скептицизм. Я должен позволить подспудным силам во мне взорваться и разрушить это видение. Я должен согласиться быть животным или ребенком и охотиться за фрагментами, как если бы они были злобой дня. Но за какими фрагментами и в какую сторону двигаясь? Я отказался от того, чтобы быть догматиком, но в какой момент начинается мой догматизм, и по какому первому побуждению природы?

Если начать, как должен я начать здесь, от абсолютной определенности (то есть очевидной природы некоторой сущности (то первым объектом верования, подсказываемым этим утверждением, будет тождественность этой сущности в различных примерах и контекстах. Эта тождественность в различных случаях не является тавтологией, как это было бы, если бы я говорил о тождественности сущности самой по себе. Тождественность, для того чтобы быть значимой, должна быть проблематичной. Я должен дважды подхватывать мой шар, так

что жонглер имеет возможность в промежутке незаметно для меня подменять его другим шаром, и когда я говорю с уверенностью тот же самый шар, я всегда могу обмануться. Вовсе не является невозможным, чтобы моя мысль не проделывала со мной подобных фокусов; она умелый жонглер. Когда я повторно обращаюсь к тому, что называю той же самой сущностью, на самом деле я, может быть, вызываю другую; моя память не нуждается в том, чтобы сохранять первую интуицию настолько точно, чтобы ее неравенство с новой было ощутимо для меня сейчас. Тождественность сущностей, данных в разное время, очевидно, предполагает время (превосходный постулат; кроме того, она предполагает способность мысли обращаться со временем без путаницы, так что, испытывая две интуиции, я мог бы корректно различить их как события и вместе с тем корректно идентифицировать их общий предмет объект. Это претенциозные и крайне сомнительные догмы. Однако есть одно обстоятельство в чистой интуиции любой сущности, которое неощутимо ведет меня к этим сложным выводам и может в то же самое время вести к постулированию естественного существования меня самого, возможной жертвы обмана, обладающего этими интуициями и переживающего их, и даже существования моего естественного объекта (того сохраняющего свое существование шара жонглера), которое однозначно описали эти интуиции. Это обстоятельство тесно связано с тем свойством сущности, которое является в наибольшей степени идеальным и удаленным от существования, а именно с ее вечностью. Вечность, рассматриваемая по существу, не имеет ничего общего со временем, а является формой бытия, которую время не может ни сопровождать, ни уничтожить. Она всегда одинаково реальна, молчалива и неуничтожима независимо от того, что может делать время, или чем может быть время. Но интуиция созерцает вечное бытие во времени, следовательно, поскольку я обращаюсь к сущности, она представляется мне длящейся. Когда после некоторого промежутка времени я возвращаюсь к ней или какому-либо ее признаку, этот признак кажется мне тождественным тому, каким он был. Эта тождественность и эта продолжительность необоснованно делаются предикатами сущности в ее собственной сфере. По существу, это излишние эпитеты, почти оскорбления, потому что на место несомненного бытия в сущности они подставляют сомнительное. Но эти эпитеты высказаны с лучшими намерениями и хорошо выражают тот аспект, который сущности представляют активной мысли, когда мысль играет ими. Интуиция обнаруживает сущность в наблюдении, проявляющемся во внимании животного. Теперь, когда оно наблюдает, животное думает, что то, за чем оно наблюдает, само наблюдает за ним с той же интенсивностью и изменчивостью внимания, которую проявляет оно, ибо внимание в своей основной определенности представляет собой обеспокоенность животного, поддерживаемую потребностями жизни среди других материальных существ, который могут изменяться и нападать. Поэтому спокойствие и постоянство в каждом объекте не кажутся животному вечностью в сущности; скорее они кажутся ему прекращением движения вещи, паузой для передышки, зловещим и ужасающим молчанием. Оно с предубеждением относится к вечности сущностей, так же как ко всем прочим их свойствам. Это бездыханная и призрачная продолжительность, которую животное приписывает сущностям, относясь к ним как к живым существам, и является их путаным переводом их вечности во временное, который смешивает вечность с существованием, что является отрицанием вечности. Таким образом, оно ассимилирует ее в квазипостоянство в себе самом, которое пронизано изменением, ибо, конечно, животное далеко от восприятия того, что, если бы сущности не были по природе вечными и несуществующими, медленно движущееся существование не могло бы переходить от одной формы к другой. Эта иллюзия неизбежна. Двусмысленная и повторяющаяся продолжительность, присущая животной жизни, когда дышат легкие и ненасытен разум, представляется его разуму пульсацией всего бытия. Более того, при наблюдении любого образа часто можно увидеть, как постоянно сохраняется одна черта, в то время как другие исчезают. Человек не только говорит себе: "Это, и по-прежнему это же", но осмеливается сказать: "Это, и опять это же, но изменившееся". Изменение в этом? Здесь это, с точки зрения сущности, чистый абсурд. Это не может

изменить свою природу, хотя то, что мы будем иметь перед собой спустя миг, может быть чем-то слегка отличным от этого, и, безусловно, сущность, попавшая на глаза сейчас, может несколько отличаться от той, которая была очевидна прежде, только потому что каждая является вечно самой собой, так что самое незначительное отличие характеризует и составляет другую сущность. Материальные категории, такие как существование, субстанция и изменение, ни одна из которых не применима к чистым данным, таким образом медленно, неощутимо приписываются животным интеллектом созерцанию. Они преобразуют интуицию в верование, и это верование, как будто бы поддерживающее сущности, когда они появляются, и сводящее их на нет, когда они исчезают, в конечном счете утверждает кажущуюся перестановку чувственных существований (гипостазированных сущностей, кружащихся вокруг нас, когда мы наблюдаем за происходящим на сцене. Даже если впоследствии критик отказывается от этого гипостазирования, остается в силе постулат, что он постоянно рассматривает ту же самую сущность или возвращается к ней, чтобы пересмотреть ее. Без этого постулата было бы невозможно вообще говорить или думать о каком бы то ни было предмете. Никакая сущность не могла бы быть распознана, и поэтому никакое изменение не могло бы быть установлено. Однако невозможно доказать это необходимое верование или выдвинуть в его защиту аргументы, хотя все аргументы предполагают его. Оно должно быть принято, как правило игры, если вы считаете, что игра стоит свеч.

Что мне сказать о возможной истинности подобных фундаментальных предпосылок? Должен ли я считать их ложными в виду их необоснованности и сказать, что они подрывают фундамент здания естественной веры, которое на них базируется? Или сказать, что установленная опытным путем надежность этого здания обосновывает их и подразумевает их истинность? Ни то ни другое: поскольку успешные результаты и плодотворность предпосылки не доказывают ее буквальную истинность, а только пригодность, ценность, для того чтобы относиться к ней как к искусству и повторять как благой миф. Аксиомы здравого смысла и искусства каким-то образом должны соответствовать истине, но это соответствие может быть очень неопределенным частичным. Более того, то обстоятельство, что даже эта символическая справедливость подтверждается только опытом, который был бы ложным во всех своих констатациях и регистрациях, если бы эта предпосылка оказалась ложной, лишает подобные экспериментальные тесты всякой логической силы. Подтверждение (corroboration) (это не новый аргумент. Если я однажды обманулся, тем более я могу обмануться снова. В перспективах опыта я не могу, за исключением самих этих перспектив, достигнуть моментов, которые они постулируют как самосуществующие, чтобы увидеть, правильно ли были намечены мои перспективы. Я нахожусь в области верования, опосредованного символами, в сфере животной веры.

Глава XIII

ВЕРА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сущность, которая является объектом интуиции, вероятно, непроста. Возможно, ничто, обладающее природой, распознаваемой в рефлексии, не может быть совершенно простым. Датум может казаться чисто качественным, подобно запаху или абсолютному бытию, однако в самой его размытости или непрерывности может таиться известная множественность, дающая основу для различения определенных моментов или частей внутри него. Обычно эта внутренняя сложность данных сущностей весьма заметна и является основным элементом их природы, но она отнюдь не является несовместимой с эстетической или логической индивидуальностью, что делает их условием для их возможного распознавания и дискурса. Сущности, подобно вещам, могут быть совершенно несомненными объектами, которым дают имя и на которые указывают, могут считаться единицами, без каких-либо предубеждений в отношении их внутренней сложности. Несомненно, моя собака (это одна и та же собака, без каких-либо предубеждений по отношению к возможной бесконечной сложности ее организма и взаимосочетания ее качеств. Таким же образом Евклидово

пространство является единой и определенной сущностью, однако его природа является предметом анализа. Я могу сказать, что оно имеет три измерения, является необходимо бесконечным, не обладает мерой и т.д. Эти следствия, которые я могу последовательно перечислять, все сплетены в сущности, и находятся там с самого начала, даже если моя интуиция медленно распутывает их или вообще не делает этого. Простота сущности, данной впервые, (чреватая простота, у нее достаточно признаков чтобы быть идентифицированной с цельным и единым аспектом другой сущности (проанализированного Евклидова пространства (которая может появиться позже.

Итак, интуиция является рассмотрением сущности фиксацией на ней внимания, а не самой сущностью. Когда я говорю, что Евклидово пространство имеет три измерения, я подсчитываю их, я перехожу от одной конкретной плоскости или одного ощущаемого направления движения к другим, потом, возможно, обратно (для проверки. Если эта операция окажется эффективным методом рассмотрения представленной сущности, плоскость или зафиксированные направления должны, так сказать, оставаться на своих местах. Все должно оставаться самим собой, так что, переходя от одного к другому, как я это делаю при счете, я могу совершать переход к действительно отличному и могу возвращаться оттуда к первоначальному элементу и находить его по-прежнему там идентичным со своей прежней индивидуальностью. Однако, как я уже обнаружил, эта тождественность с самим собой термина, к которому я возвращаюсь, не может быть дана ни в первой его интуиции, ни во второй. Все, что могут предположить та или другая интуиция, пока они осуществляются, это характер датума с элементами и отношениями, представленными в нем. Интуиция никогда не может представить отношения своего цельного датума к чем-либо не данному. Она вообще не может относиться к чему-либо латентному, поскольку ее объектом, по определению, является то, что дано непосредственно. Чтобы совершить скачок от одной интуиции к другой и утверждать, что они рассматривают одну и ту же сущность, то есть имеют ту же интенцию, я должен взять ответственность на себя и положиться на животную веру. В противном случае вся диалектика была бы остановлена.

Позвольте мне прежде всего предположить, что я могу постоянно рассматривать одну и ту же сущность и время от времени возвращаться к ней. Далее, позвольте мне предположить, что, поступая таким образом, я могу превращать пассивную интуицию в анализ, а анализ (в новый синтез некоторых элементов, идентифицированных и выделенных в данной сущности. Аким образом, интуиция собирает и группирует различными способами элементы, которые, согласно предположению, идентичны в различном окружении. Она рассматривает сущности по частям и последовательно, хотя в своем собственном царстве они составляют одновременное и вечное многообразие. Предположим, например, что я закончил вычисление, и заключительное уравнение (передо мной. Внутренние отношения его элементов являются частями данной сущности. Это многообразие синтезирует интуиция, а не доказательство. Эта синтетическая сущность, следовательно, не является заключением, это (не решение, не дедукция; это (не истина. Это просто структура элементов (вот что это такое; притом ни один из этих элементов по тому немногому, что я знаю, никогда не фигурировал ни в каком другом уравнении. Таким образом, всякое рассмотрение, которое поэтому является аналитическим таким образом, что оно дает основу для доказательства, или любое определение, вытекающее из этого анализа, предполагает повторение одной и той же сущности в разных контекстах. Эта предпосылка не может быть обоснована интуицией, занимающей ум в какое бы то ни было время. Не в большей степени может быть обоснована уверенность, что элемент остается тем же самым в двух следующих друг за другом примерах и в двух разных контекстах, или уверенность, что то, что утверждается в предикате, утверждается относительно того самого субъекта, который до этого был предметом интуиции без этого предиката. Экспликация (это процесс, дедукция (это событие, хотя сила логического анализа и синтеза зависит не от предположения этого факта, а скорее от игнорирования его, этот факт может быть выведен из веры в обоснованность доказательства, которое потеряло бы силу, если бы этот факт был отвергнут. Таким образом, обоснованность

доказательства является делом только веры, которое зависит от допущения действительности, не поддающейся доказательству. Я должен верить, что я отметил элементы аргументации отдельно и последовательно, если мне нужно что-то утверждать, идентифицируя их, или провозглашая их эквивалентными, или если выводы, в которых они появляются сейчас, должны оказаться каким-то образом релевантны предпосылкам, в которых они появились первоначально.

В таком случае сила диалектики заключается в отождествлении элементов, взятых изолированно, с теми же самыми элементами в отношениях, так что даже аналитическое суждение является синтетическим. Например, сказать, что в "протяженном цвете" содержится "протяжение" (это анализ, но идентифицировать элемент протяжения, абстрагированный из первой сущности, со второй сущностью как целым (это синтез, и вполне возможно, что этот синтез будет ошибочным). В отождествлении сущности, данной в одной интуиции, с чем-либо, данным в другой интуиции, в дополнительном контексте содержится постулат, что в трансцендентной интенции я попадаю в скрытую цель. Идентифицируются не две подобные интуиции, взятые экзистенциально, конечно, предположительно они различаются не только количественно и как события в мире, но, согласно гипотезе, имеют перед собой совершенно разные данные в целом. Это разум, духовный партнер рассмотрения и действия, намеревается рассматривать одну и ту же сущность. Повторение здесь постулируется (повторение, если оно действительно, связано со случайными различиями, свойственными элементу, который остается индивидуально идентичным. Существует различие в том, что одна и та же сущность полагается здесь и там. Соответственно суждение содержит нечто большее, чем интуицию, здесь предполагается дискурс, включающий время, трансцендентное отнесение и разнообразие случайных подходов к рассмотрению идентичных объектов. Таким образом, если я хочу верить, что всякое доказательство, каким бы оно ни было, является значимым и корректным, я должен предположить (чего я никогда не смогу доказать), что здесь действует активный интеллект, способный возвращаться к прежней идее, подобно тому как собака возвращается к тому, что отрывает. Эта операция является совершенно внешней по отношению к вневременной идентичности каждого возвращенного элемента.

Другими словами, доказательство (это событие даже тогда, когда доказываемая вещь не является событием. Без случайного выбора какого-либо отправного пункта, без селективного и кумулятивного продвижения, без повторения не было бы никакой диалектики. Все предпосылки и выводы были бы статичными и обособленными элементами. Диалектический нерв их отношения не был бы обнажен и представлен интуиции. Я ничего не знал бы о сущностях в том смысле, в каком знаниями о них обладают математика или риторика, если бы аргументация не была бы случайной по отношению к предмету, бросая свет интуиции то вдоль одного пути, то вдоль другого в поле, положенном как статичное, так, чтобы расширять и подтверждать мое представление о нем, потому что если бы я потерял на одном конце все то, что приобрел на другом, мое движение не обогатило бы представление, оно даже не имело бы в виду одну и ту же вещь дважды. Таким образом, диалектика (это обоюдоострый меч; с одной стороны, будучи обоснованной, она связана с независимым от нее царством сущности, на которое она может быть распространена, с другой стороны, она содержит свое собственное временное и изменчивое существование, поскольку она выражает тот факт, что определенная часть этого царства сущности была избрана для внимательного рассмотрения, обдумывания на досуге, как бы обращена на саму себя и распознана как имеющая то или иное строение. Даже чистая интуиция принимает участие (как я попробую сейчас показать) в этом духовном существовании, отличающемся от логического или эстетического бытия, характерного для сущностей, которые она воспринимает; сама интуиция едва ли может быть проделана без зажмуривания глаз и повторного рассмотрения. Но это появление и исчезновение внимания, кратковременное и меняющееся направление, еще более выражено в диалектике, и обоснованность и прогресс понимания в подобных случаях зависят от постоянства наличных сущностей, несмотря на пульсации внимания по

отношению к ним и разнообразие отношений, последовательно обнаруживаемых. Таким образом, вера в существование ментального дискурса (одного из видов опыта), хотя и безусловно недоказуемая в себе, содержится в обосновании всякого доказательства. Я прихожу к любопытной идее, что диалектика потеряла бы всю свою силу, если бы я отказался от моей инстинктивной веры в свою способность заново обнаруживать прежние значения, последовательно мыслить, поправлять себя, не меняя предмета, короче, иметь в своем распоряжении дискурс и жить рационально. Бросьте вызов этой вере, и доказательство станет всего лишь иллюзией будто бы было дано доказательство. Если я ограничиваю себя данной сущностью, не допуская дискурс относительно нее, я исключаю какой бы то ни было анализ этой сущности, даже рассмотрение ее. Я должен просто созерцать ее, в полном и вневременном эстетическом транссе. Если этого не случается, причина не в диалектике. Никакая логика не могла бы вывести меня за пределы очевидного, если бы я не распознавал в нем приметы, которых в нем нет. Причина моей склонности играть с идеями, терять и ловить их, гордиться моей способностью без ошибок жонглировать и ми в воздухе, (витальная причина. Эта логика является маховиком моей тяжело дышащей машины. Это вообще не логика. Лежащая в основе дискурса животная жизнь озабочена тем, чтобы даровать свободу своим немногочисленным предопределенным реакциям, когда бы ни представился для них повод, и всем подобным поводам она дает одинаковое название. Она делает какое-нибудь из обиходных наименований различным объектам, что является одним из источников ошибок и постоянных неточностей в нашем знании о вещах, но даже еще до этого названия, утверждая, что наличная в данный момент сущность является той же самой сущностью, которая была в наличии уже прежде, мы рискуем совершить ошибку и незаметно допустить противоречие. Является ли круглый квадрат сущностью? Безусловно, да. Но не в геометрии Евклида, поскольку в его геометрии квадрат (это одна сущность, а круг (другая, определено и безоговорочно отличающаяся от нее. Круглый квадрат (это сущность комического дискурса, реализующаяся тогда, когда неумелый или дерзкий ум, смешав имена, определения и идеи, пытается отождествить две несовместимости. Эта попытка является не более невозможной для ума, который подчиняется животным фантазиям, чем невозможно для такого ума (искать потерянное слово. Психея имеет в запасе потерянное слово, поскольку она обладает интуициями круга и квадрата, но, несмотря на это, может произойти потеря памяти или смешение идей, поскольку движение дискурса, который должен найти высшее выражение в этих интуициях, может быть механически прервано и остановлено на той стадии, когда имя еще не восстановлено, или когда ассоциации при словах круг и квадрат переплетены, и слова стремятся к тому, чтобы обрести определенность интуиции обоих, как одного. Подобные запинки и противоречия делают очевидным физический базис мысли и тот далекий уровень, с которого она обращается к своему идеальному объекту, словно мотылек к звезде; но этот физический базис на самом деле столь же необходим как для того, чтобы исправлять ошибки, так и для того, чтобы совершать их. Таким образом, диалектика, которая по своим целям и намерениям не выходит за пределы царства сущности, а только определяет некий его фрагмент, на деле, если ей следует быть целостной, все-таки должны предполагать время, изменение и постоянство значений в развитии дискурса.

Напротив, вера в доказательство, если оно признается, оказывает определенное стабилизирующее воздействие на веру в факты. Когда поэтические идеалисты стонут, что жизнь (это сон, они прибегают к гиперболе, если все же пытаются сравнивать одну иллюзию с другой по красоте и продолжительности. Поэзия, подобно доказательству, была бы невозможна, если бы интуицию сущностей нельзя было поддерживать и повторять в различных контекстах. В противном случае поэт не мог бы ни выразить накапливающиеся страсти, ни развивать конкретные темы. Но жизнь (это не сон, если она обосновывает диалектику, поскольку диалектика исследует различные части царства сущности (где все постоянно, различимо, неуничтожимо (с постоянной и последовательной целью, и достигает обоснованного понимания их структуры, и таким объемом бодрствования и здравого смысла

диалектический или поэтический ум располагал бы в любом случае, даже при отсутствии материального мира, всяких моральных интересов, и даже при отсутствии любой жизни, за исключением жизни самого дискурса.

Тем не менее, если бы дискурс всегда бы ясным представлением о сущностных отношениях, его наличие едва ли было бы заметно; только очень щепетильный философ стал бы настаивать на нем, имея в виду избирательный порядок и направление рассмотрения, которые дискурс добавляет к своему предмету. Однако имеется более заметный свидетель того факта, что дискурс существует и является не частью сущности, а скорее функцией животной жизни, (этим свидетелем является ошибка. Мысль становится очевидной, когда вещи передают ее; поскольку они не могут быть ложными, должно быть ложным что-то другое, и это нечто другое, которое мы называем мыслью, должно было существовать и иметь статус, отличный от статуса вещи, который она фальсифицировала. Таким образом, ошибка пробуждает даже самую ленивую философию от иллюзорного предположения, будто ее собственные извивы являются не чем иным, как нитями в ткани их объекта. Таким образом, благодаря только лишь простому рассмотрению того, как сущность представляет себя, я сумел вырвать из зубов скептицизма одно верование, знакомое мне еще до того, как я повстречал этого романтического дракона, а именно верование в существование дискурса, или мыслящего разума. Однако следует заметить, что пока что я обнаружил основания для восстановления этого верования только в крайне смягченной форме. Мысль здесь не означает ничего большего, чем тот факт, что рассматривается некоторая сущность, а дискурс означает только то, что к этой сущности подходят и рассматривают ее неоднократно или по частям, с пристрастием, последовательно, и с возможной путаницей при ее описании. За исключением этого различия интуиции от постигаемой сущности, передо мной все еще нет никакого объекта, который претендовал бы на существование или добивался бы верования. Датум в целом по-прежнему представляет собой только сущность, однако только благодаря исследованию датума, когда это исследование подвергается рефлексии и допускается, я заново ввел верование, которое освобождает меня от того, что было самым неприятным для плоти и крови моего радикального скептицизма. Я обнаружил, что даже когда не воспринимается никакое изменение в образе, находящемся передо мной, мой дискурс меняет ступени и достигает прогресса в его рассмотрении, так что теперь я допускаю в дискурсе ту сферу событий, где происходят реальные изменения. Теперь, когда я воспринимаю движение, я могу утверждать, что эта интуиция изменения истинна; то есть она действительно последовала за интуицией статичного первого элемента, от которого мое внимание перешло к этой интуиции изменения, это я теперь могу утверждать, не смешивая последовательно данные сущности, или пытаюсь, как в животном восприятии, составить одну конкретную вещь из несовместимым природ. Я могу по-прежнему отрицать, сомневаться или игнорировать существование изменяющихся вещей или событий в природе; с полной ясностью я буду видеть в объекте только сущность, но если так случится, это будет сущность изменения, и чтобы представлять образ некоторого движения, этот предмет будет казаться мне таким же определенным, идеальным и неизменным, как всякий другой, и столь же мало склонным к тому, чтобы превращаться в любой другой предмет. Всякое увиденное движение будет не чем иным, как зафиксированным образом движения. Действительное течение и действительное существование будут занимать соответствующее и достаточное положение в моей мысли; я буду понимать и верить, если я размышляю о мимолетных созерцаниях, которые я осмысливаю и перехожу от одного к другому; но эти объекты будут всего лишь несколькими сущностями, несколькими образами или мелодиями, или историями, каждая из которых всегда является самой собой, какой ее находит, изобретает или переосмысливает мой разум.

Глава XIV

СУЩНОСТЬ И ИНТУИЦИЯ

Не верить ничему и жить погруженным в интуицию могло бы быть привилегией бесплотного духа. Если бы человек мог приобщиться к ней, он не только был бы освобожден от сомнения, но в одном отношении он не потерял бы ничего в пределах своего опыта, поскольку царство сущности, которое осталось бы открытым для него, абсолютно бесконечно и содержит образы всех событий, которые могут произойти в любом из существующих миров или которые могут произойти во всех возможных мирах вместе. Однако все это разнообразие и изобилие образовало бы мозаику, мраморное изображение жизни или хронику античных войн. Там были бы страдания и ужасы, так же как и красота, но все вечно сгорало бы на своем месте, уравнивая все остальное, но никакой встревоженный взгляд не переходил бы стремительно от одного к другому, желая знать, что может оказаться следующим. Дух, который действительно дышит в человеке, (это животный дух, изменчивый, как и те материальные устремления, которые он выражает. У него материальная основа и случайная точка зрения, и лихорадочное предпочтение одного альтернативного взгляда другому. Он жаждет нового, и это любопытство, которое он, конечно, заимствует у чувств ненадежности и инстинктивной обеспокоенности животного, духом которого он является, странным образом противоречиво, поскольку чем дальше продвигается оно в служении животной воле, тем больше зрелище, которое открывается, противоречит воле этого животного и стремится нейтрализовать ее. Он действительно вообще не был бы духом, если бы он по своей природе не стремился опровергнуть свою случайную точку зрения и поменять свое материальное положение, к которому он оказывается необъяснимым образом прикрепленным при рождении. Поскольку это дух и его влечет назад животная приверженность к наслаждениям и желаниям, которые чистый дух не может разделять (потому что следствием их является невежество), он, соответственно, стремится освободиться от поглощенности животной жизнью, от пристрастия к пространству и времени и от всякой мысли о существовании. Ведя себя таким образом, отнюдь не исчезая, он, по-видимому, приобретает более интенсивное, ясное и спокойное бытие. Поскольку корни духа, по крайней мере в человеке, заключены в материи, это будет казаться иллюзией. Однако опыт является нормальным, и не нужно связывать с ним никаких иллюзий, если однажды понята природа интуиции.

В точке исчезновения скептицизма, которая также является вершиной расцвета жизни, интуиция поглощается своим объектом. По этой причине философы, способные к глубокому созерцанию, (Аристотель, например, мысль которого становится в этих точках как бы внутренней по отношению к духу, (обычно утверждали, что в конце концов сущность и созерцание сущности (идентичны. Конечно, интуиция сущности не обращает внимания на себя и осознает только сущность, к которой она внутренне ничего не добавляет ни по природе, ни по интенсивности; поскольку сила удара грома является главной составной частью его сущности, так же как особая непереносимость каждого вида боли или преходящий характер всякого наслаждения. Если бы на самом деле, когда дана сущность такого рода, не было бы ничего предшествующего этой интуиции, ничего экзистенциального помимо нее и ничего следующего за ней, это отсутствие внимания интуиции по отношению к себе самой, как отличной от данной сущности, не было бы ошибкой, скорее было бы отсутствием иллюзии. Но тогда было бы иллюзией полагать, как сделал бы я, назвав наличие данной сущности ее интуицией, что душа, имеющая историю и другие случайные свойства, однажды на своем пути подошла к созерцанию этой сущности. Тогда на самом деле это была бы только сущность, не имеющая никаких других отношений, кроме тех, которые являются совершенно необратимыми внутренними отношениями к другим сущностям, которые определяют ее в ее собственном царстве. Например, очень большие числа, которые никто не представлял в их определенности, не имеют никаких других отношений, кроме вечно присущих им в последовательностях целых чисел, для них нет места в жизни людей. Так же обстоит дело и со многими мучениями, для которых природа не предоставила необходимых механизмов и которые отказался показать даже ад; они остаются только сущностями, которые, к счастью, не являются предметом интуиции. Очевидно, бытие этих чисел и таких

мучений устанавливается исключительно их сущностью и не достигает существования. В интуиции, если бы существовала интуиция этих чисел или этих мучений, все-таки было бы обнаружено только это бытие сущности, ибо никакие случайные отношения, какими интуиция обладает в жизни некоторых душ, не были бы представлены внутри нее, если (как я считаю) не было бы дано ничего, кроме этих сущностей.

Поэтому неизбежно, что умы, поглощенные исключительно созерцанием, какой-либо сущности, будут связывать наличие и силу этой сущности с ее собственной природой, которая только и видима, а не с интуицией, которая невидима. Мысль, погружаясь в свой объект, высвобождается из сферы случайного и изменений и теряет себя в этом объекте, сублимируясь в сущность. Эта сублимация не связана с потерями, просто она устраняет путаницу. Это полное осуществление и завершение этого опыта. Таким именно образом я могу понять, почему Аристотель мог назвать царство сущности или ту его часть, которую он рассматривал, (божеством, и мог торжественно заявить, что его неотчуждаемым бытием является вечная жизнь. Говоря более строго, это была бы вечная реализация жизни познания. Животная жизнь должна была бы прекратиться, поскольку он требует, чтобы мы собирали и бросали рассматриваемые нами сущности и приписывали им как временные, так и вечные отношения, другими словами, рассматривали бы их не как сущности, а как вещи. Хотя жизнь познания начинается с внимания к практической необходимости и ею поддерживается, все-таки ее идеал является жертвенным; она стремится отчетливо представлять каждую вещь и представлять все вещи вместе, то есть под углом зрения вечности, как подлинные сущности, данные в интуиции. Перестать жить во времени (значит быть интеллектуально спасенным; это ??????????14 (исчезнуть или просиять в истине, стать вечным. Высшая сокровеннейшая цель и высочайшее достижение познания (перестать быть знанием для Я, отвергнуть предубеждения, выйти за пределы той точки зрения, согласно которой знание определяет свои перспективы, так что все вещи будут представлены равным образом, а истиной может быть все во всем.

Однако все осуществляется исключительно субъективно, в том жизненном и поэтическом усилии, которое начинается с откровенного забвения самого себя и заканчивается страстным самоотказом. При рассмотрении со стороны, как это происходит в психологии, все представляется совершенно другим образом. В действительности, сущность и интуиция сущности никогда не могут быть тождественны. Если бы были разрешены все затруднения животного, для интуиции не было бы ни органа, ни повода, и исчезновением интуиции не появлялись бы никакие сущности. Разумеется, это событие не упразднило бы их в их собственном царстве, и каждая из них была бы тем, чем она представлялась бы, если бы возродилась ее интуиция; но они все были бы только неожиданными логическими или чувственными предметами, далекими, насколько это возможно, от жизни или яркого сияния божества. Сущность без интуиции была бы не просто не-существующей (она всегда такова), но, что еще хуже, она не была бы ни объектом какого-либо созерцания, ни целью какого-либо устремления, ни тайным или сокровенным идеалом какой-либо жизни. Она утратила бы ценность. Вся та радость и чувство освобождения, которые приносит уму чистая объективность, полностью отсутствовала бы, и сущность утратила бы все свое достоинство, если бы жизнь лишилась своего хрупкого существования.

Я уверен, что Аристотель и даже более мистические выразители духа не игнорировали бы это обстоятельство, если бы им не был присущ такой узкий взгляд на сущность. Они смотрели на нее исключительно сквозь призму морали, грамматики и физики (незначительную часть того бесконечно царства, которое таким образом становится видимым, они принимали за целое. Если они ощущали некоторое затруднение по поводу очевидной пристрастности такого рассмотрения, они стирали и затуманивали ту часть, которая была перед ними, чтобы это не казалось произволом, вместо того чтобы вообразить ее наполненной всем остальным, тем, что в царстве сущности не может не окружать ее. Даже Спиноза, который так ясно определяет царство сущности как бесконечное число видов бытия, каждый из которых обладает бесконечным числом вариаций, называет эту

бесконечность бытия субстанцией, как будто для того, чтобы сразу нагрузить всю ее существованием (ужасающая перспектива) и стереть ее внутренние различия, однако именно различие, бесконечно мало, но неизгладимое различие всего от всего остального, составляет то, что означает сущность. Но люди предполагают, что то, что не существует, представляет собой ничто (тупой позитивизм, подобный заявлению, что прошлое (это ничто, и будущее (ничто, ничто также и все то, чего мне не довелось узнать. Если бы люди рассудили, что несуществующее бесконечно, как говорит Лейбниц, что оно есть все, что это царство сущности, они были бы более осторожными в рассмотрении сущности как чего-то избранного, высшего в себе самом, достойного вечного созерцания. Они рассматривали бы ее не как силу или достоинство в действительных вещах, а скорее как форму всего и вся. Ценность достается любой части царства сущности благодаря интересу, который кто-либо проявляет к ней как к тому, что имеет значение для его собственной жизни. Если орган этой жизни добьется совершенства действий, он достигнет интуиции соответствующей части сущности. Эта интуиция будет иметь в высшей степени жизненное значение. Она будет поглощена своим объектом. Но будет неразумно думать о какой-либо возможности исчезновения интуиции в этом объекте или ее отсутствия; просто она не будет осознавать себя, время, обстоятельства. Эта интуиция будет продолжать существовать, существовать во времени, и пульсации ее существования едва ли будут иметь место без каких-либо колебаний и, возможно, без кратковременного исчезновения. Таким образом, интуиция будет совершенно отличной от сущности. Она будет чем-то существующим и даже, возможно, кратковременным, она будет загораться и исчезать, вероятно, она будет восхитительной, то есть ей не будут являться никакие сущности, если они не проникнуты общим тоном интереса и красоты. Жизнь психеи, которая возвышается до этой интуиции, определяет все характерные признаки вызванной сущности, в том числе ее моральные свойства, но поскольку чистая интуиция (это жизнь в ее лучшем выражении, когда в ее музыке меньше всего скрежета и барабанного боя, возникает предрассудок и предположение, что всякая сущность прекрасна и обогащает жизнь. Это незаслуженное платоновское обожание сущности. Царство сущности мертво, и интуиция большей его части будет мертвой для всякого живого существа.

Созерцание такого рода сущностей, как относящихся к конкретной жизни, есть то, что Аристотель назвал энтелехией или полным осуществлением этой жизни. Если бы космос представлял собой одно животное, как полагали древние, и обладал бы целью и жизнью, которая, подобно человеческой жизни, могла бы наполниться созерцанием определенных сущностей, тогда бы жизни, подобная жизни Аристотелева Бога, была бы осуществлена в совершенстве природы, если это совершенство было бы вообще достижимо. Если вместе с Аристотелем мы предполагаем, что космос всегда находился в совершенном равновесии, тогда радостная интуиция всех соответствующих сущностей космоса действительно осуществляла бы и представляла бы собой ту непрерывную, экстатическую божественную жизнь, о которой говорит Аристотель. Но даже тогда космическая интуиция сущности не была бы той сущностью, которую она созерцала. Интуиция была бы естественным фактом, случайно бесконечным и по необходимости избирательным, поскольку космос может прекратить вращение в любой момент, и, конечно, музыка этих сфер, даже если они нормально вращаются, не представляла бы собой и каждый тип звука, даже музыки. Другой космос имел бы и, может быть, где-то имеет и сейчас другую систему жизни. Однако в каждом случае это была бы божественная жизнь, как древние представляли себе божественность. Она имела бы такой же естественный базис, какой должна иметь любая жизнь, соответствующее тепло и моральную окраску, поскольку естественные действия заимствуют эти ценности у тех воззрений, на которые они опираются. Любовь к некоторым особенным сущностям, одушевляющая существование, (это выражение того направления, которое приняло движение всего существующего. Если бы космос был совершенным животным (в своих неизвестных вековых пульсациях он мог бы оказаться одним, (космический интеллект в действии не был бы ни царством сущности в целом, ни какой-

либо частью его. Он был бы интуицией сущности в такой степени, в какой этот космос имел ее своей целью.

Внешняя и натуралистическая точка зрения, согласно которой все это появляется, еще не была критически обоснована мной: я предвосхитил ее, чтобы представить мое понимание сущности совершенно недвусмысленным. Но если мы начнем от царства сущности, которое не требует никаких верований, мы можем сразу же обнаружить убедительные основания для верования в то, что эти разнообразные интуиции ее частей существуют на деле. Одним из оснований является избирательность дискурса. Все сущности всегда имеются в наличии, готовые к тому, чтобы стать предметом мысли, если у кого-то достаточно для этого ума. Но мой дискурс что-то берет первым, а затем, даже если он является чисто диалектическим, переходит к какому-либо выводу или дополнению к этой идее и никогда не исчерпывает свой предмет. Он пересекает царство сущности, как некоторые лучи света из высоко расположенных проемов могут пронизывать плотный ковер в мечети: это непродолжительное, подробное, подвижное, косое освещение чего-либо обширного и глубокого. Тот факт, что интуиция имеет направление, является дополнительным доказательством ее экзистенциального характера и ее полного отличия в природе от сущностей, которые она освещает. Жизнь начинается необъяснимо и развивается необратимо; когда она благополучна и разумна, она аккумулирует опыт о вещах в личной перспективе, в основном чуждой самим вещам. Когда рассматриваемые объекты являются сущностями, ни одна из них не может предшествовать другой в их собственной сфере: они вообще не возникают и не располагаются в порядке предшествования. Если одна сущность включает в себя другую, как число два включает в себя число один, так же легко и правильно получить единицу путем деления двойки или получить двойку повторением единицы. В себе сущности не заключают генезиса; повторение единицы было бы невозможно, если бы двойственность не была предположена с самого начала, так же как единство, чтобы обусловить возможность повторения. Постигая первоначально какую-то определенную сущность, дискурс направляется иррациональной необходимостью. То, что первым приходит на ум, является в определенной мере случайным: я сталкиваюсь с тем или иным без каких-либо логических оснований. Это произвольное нападение интуиции на сущность является свидетельством того, что нечто, не являющееся сущностью и что я называю интуицией, вступило в игру. Таким образом, дискурс, даже если он проследивает идеальные следствия, сам по себе случаен по отношению к ним и иррационален в своем существовании. Животная жизнь включена в рассмотрение сущности, так же как животная вера заключена в моем доверии к доказательству. Если бы я стремился стать бестелесным духом, я должен был бы представлять себе все сущности одинаково и одновременно (чудовищное требование. Если, напротив, я стремлюсь пребывать исключительно в присутствии постоянного, прекрасного и благого, я признаю, что я представляю собой только естественное существо, ориентированное на небольшой круг интересов и совершенств и что в особенности моя интуиция делает произвольный выбор и пользуется индивидуальным методом в своем рассмотрении сущности.

Таким образом, первым существованием, относительно которого скептик, находящийся в присутствии случайных сущностей, может собрать разумные доказательства, является существование интуиции, для которой эти сущности очевидны. Разумеется, это не тот объект, который животный ум первым постулирует и в который первым обретает веру. Существование вещей предполагается животными, когда они действуют и ожидают, еще до того, как интуиция предложит какое-либо описание того, что есть вещь, которая находится перед ними в определенной области. Но животные не являются скептиками, и должен накопиться долгий опыт, прежде чем будет поставлена проблема, которую я здесь рассматриваю, а именно: следует ли вообще что-либо полагать и во что-либо верить. Я отвечаю, что это не является неизбежным, если я хочу и способен пассивно рассматривать сущности, которые могут оказаться данными, но если я обдумываю, что они такое и как они появляются, я вижу, что это появление случайно для них, что этот их принцип является

вкладом с моей стороны, который я называю интуицией. Разница между сущностью и интуицией, хотя люди, возможно, открыли ее поздно, тогда представляется мне глубокой и определенной. Они принадлежат двум различным царствам бытия.

Глава XV

ВЕРА В ОПЫТ

Итак, я согласился поверить, что дискурс является случайным рассмотрением сущности (пристрастным, повторяющимся, индивидуальным, имеющим произвольную начальную точку и произвольное направление развития. Он выбирает ту или иную сущность без каких-либо оснований на это. Какой диалектичной ни могла бы быть структура рассматриваемого предмета, так что различные части, похоже, предполагают друг друга, тот факт, что рассматривается этот, а не иной предмет, является грубым фактом, а в целом мой дискурс является настоящей случайностью, инициированной, если она вообще была инициирована, какой-то скрытой силой не только в его существовании, но и в продолжительности, направлении и масштабе.

Тем не менее эта неизбежность не поднимает никаких проблем в самом дискурсе, поскольку не вызывает удивления. Проблемы возникают, после того как дискурс набирает полный размах, благодаря противоречащим допущениям и болезненным проблемам, появляющимся внутри него. Никаких проблем нет ни в природе, ни в царстве сущности. Существование (самая необъяснимая из иррациональностей (не является проблемой в своих собственных глазах: оно спокойно принимает себя как должное, если оно благополучно. С его стороны, это здоровое отсутствие любопытства, поскольку, если нет оснований, почему должен существовать какой-то определенный факт, а не любой другой или вообще никакой, то и нет никаких оснований, почему не следует существовать этому факту. Философ, который научился пользоваться природой как критерием естественности, не будет этому удивлен. Он повторит в большом масштабе акт свободного подчинения судьбе, который спонтанно осуществляет каждая вновь появляющаяся интуиция. Она не возражает против своего неожиданного существования. Она не удивлена незаслуженным благом, которое выпало на ее долю. Она скромно и мудро забывает себя и отмечает только очевидную, глубоко обосновывающую себя саму сущность, которая появляется перед ней. То, что эта сущность может быть так же или гораздо лучше замещена какой-то другой, не является идеей, которая может быть получена из самой этой сущности. Психея (скрытая сила, из которой фактически и появляется интуиция) также не является недовольной собой и обеспокоенной. Психея тоже принимает как должное свою особенную природу, индивидуальную и весьма чувствительную относительно всех других вещей. Ее природа представляется ей по справедливости вечной и такой, что все остальные вещи, очевидно, обязаны приспособляться к ней. Также и Бог, с повелениями которого мы в конечном итоге связываем все эти соответствующие неизбежности, мыслится подобным образом без какого-либо удивления перед тем, почему Он существует, хотя очевидно, что ничто перед этим не требовало его присутствия или приготавливало для этого путь или делало это упомогаемым. Тем не менее, смертная психея, вероятно, полагает, что знает и эту тайну, потому что было необходимо, чтобы Бог существовал для того, чтобы сделать ее собственное существование совершенно безопасным, законным и всегда благополучным. Эта гарантия была необходима, потому что, к несчастью, существуют некоторые обстоятельства, которые могли внушать противоположное.

Прежде чем обратиться к этим обстоятельствам, было бы целесообразно отметить, что действительному дискурсу, поскольку он отличается от внутренней диалектики сущностей, может быть присуща некоторая степень неопределенности, то есть элементы, которые он последовательно использует, по существу могут не иметь ничего общего друг с другом. В этом нет дополнительного парадокса: что бесосновательно и иррационально в своем начале, может остаться бесосновательным и иррациональным в процессе, и явление, которое не имеет оснований для своего возникновения, не имеет оснований для того, чтобы не уступить

какому-либо другому явлению или пустоте. Однако иногда ход явлений действительно порождает удивление и недовольство. Как это может быть? Если я не удивлен с самого начала тем, что я существую, или обнаруживая нечто перед собой, поскольку наличное бытие не может содержать допущений или противоречий против самого себя, по-видимому, мне не следует удивляться никаким изменениям в существовании, какими бы радикальными и полными они ни были. Действительно, нередко я не удивляюсь, а слежу за развитием дискурса как во сне, с полным согласием или даже с явным предчувствием приближающегося и желанием, чтобы это произошло. Если бы я был чистым духом или даже открытым разумом, это должно было бы иметь место всегда. Какими бы разными ни были сущности, в своем собственном царстве они не могут исключать друг друга или противоречить друг другу; бесконечно их разнообразие там не вызывает никаких конфликтов, не навязывает никаких альтернатив; и бытие чего-либо, не препятствуя бытию других вещей, по-видимому, положительно привлекает их и требует его, подобно тому как каждая часть Евклидова пространства не отрицает другие части, а подразумевает их; нерелевантным, так сказать, является просто расстояние. Но нет ничего странного или пагубного в быстрой мысли, которая должна перескакивать от одной сущности к другой, совершенно на нее непохожей или даже противоположной ей.

Однако я не могу продлить дискурс или сделать его более напряженным без того, чтобы вскоре не натолкнуться на то, что я называю заминкой, путаницей, сомнением или противоречием. В дискурс незаметно проникает импульс к отбору, следованию или отклонению определенных сущностей. Откуда эта враждебность и нетерпимость? Я не недооцениваю, не подчиняю, не удаляю круг из царства сущности, когда я думаю о квадрате и говорю, что он не является кругом. Почему я должен раздражаться, если я нахожу одно, а не другое? Очевидно, мой дискурс не является чистым созерцанием. Разумеется, никакая сущность не является никакой другой сущностью. Чистый дух не будет называть никакие две сущности несовместимыми. Их разнообразие является частью их бытия. Они есть, потому что при том, что каждая сущность вечно является самой собой, каждые две (вечно различимы. Если они несовместимы, я должен спросить: в каком отношении несовместимы? Даже называя их противоречащими, я неявно выражаю некий скрытый интерес, который не может совместить их обе. Имеется инерция или ранее принятое определенное направление в той области, которую я обозначаю как свое Я (self), которое требует одну из них и отвергает другую за невинный поступок, что она (не та. Появление несоответствующей сущности раздражает меня потому, что я уже соединен с прежней сущностью и ее ближайшими отношениями. Я не буду терпеть ничего, кроме того, что, как я полагал, должно прийти, что заполняет мою нишу, совпадает с моим предприятием.

Поэтому несоответствие, неконгруэнтность и противоречие возможны в дискурсе только потому, что дискурс является не игрой сущностей, а игрой внимания к ним. Внимание (это не беспристрастное действие духа, а проявление интереса, намерения, предпочтения и озабоченности. Здесь действует потаенная жизнь. Если я отрицаю это, потому что мой скептицизм избегает всего скрытого, я должен последовательно отказаться от всякой диалектики и вернуться назад к бесцельному сну, без каких-либо его толкований, претендующих на то, чтобы быть истинными, поскольку если бы самое незначительное толкование снов было истинным, я должен был бы сразу же в моих толкованиях отвергнуть все приходящие в голову сущности, отклоняющиеся от этого определенного сна, который я намерен описать. Значение, которое является моим проводником в различении одного предположения от другого как истинного, возникает ниже, это влияние снизу. Это свидетельство моей психической жизни, протекающей ниже поверхности, которая может быть расстроена вмешательством одного события или стимулирована другим, и этот подземный импульс прорывается в суждениях о правильности и неправильности сущностей (совершенно абсурдных и бессмысленных суждениях, если бы сущности рассматривались только в себе. Если я чувствую, что они сталкиваются, если я превращаю в камень преткновения их несоответствие или разнообразие, этим я доказываю, что я осуществляю

относительно них дискурс с отдаленной целью, направленной на какой-то чуждый интерес. Я, например, нанизываю жемчужины; поэтому мне нужно, чтобы они были определенного качества. В этом случае я (мастер этой операции, а не поэт, и то, что меня здесь интересует, даже в чистой диалектике или самом отрывочном сне, (это не исследовать сущность, а накопить опыт. На нижнем уровне психея занята выбором еды, укреплением своего пристанища и различением друзей от врагов. В моих блужданиях по царству сущности я, невзирая на мою собственную личность, всего лишь ее разведчик.

Под опытом я понимаю запас мудрости, накопленный жизнью. Я называю его фондом мудрости, а не просто памятью или дискурсивным воображением, потому что опыт накапливается как раз тогда, когда различение данных сущностей является наиболее острым, когда сохраняется или хотя бы замечается только соответствующее и когда психея разумно интерпретирует данные как знаки, благоприятные или неблагоприятные для ее интересов, как опасное или привлекательное, а если она ошибается, предоставляет событиям корректировать ее интерпретации. Я считаю просто смешным применять слово опыт к чему-либо, что не является обучением или накоплением знания о фактах. Если опыт ничему не научил меня, это не опыт, а фантазия. Соответственно опыт предполагает цель и интеллект, и, как это выяснится, также естественный мир, в котором, применяя искусство, можно научиться жить лучше.

Интуиция (это событие, хотя она открывает только сущность; и подобным же образом дискурс (это опыт, даже тогда, когда он осуществляется чисто диалектически. Он является опытом по двум причинам: во-первых, потому что он бессознательно направляется стремлением психеи исследовать не царство сущности, а мир, который направляет ее судьбы; и, во-вторых, потому что сущности, развернутые перед ней, по-видимому, случайно и без каких-либо оснований реально передают знание; в действительности для психеи они являются проявлением того окружающего мира, на который ей следует разумно реагировать. Дискурс принадлежит ей и полон имен (поскольку неслышные образы также могут быть именами, которые она дает своим друзьям и врагам, и полон ее врожденных представлений об их путях. Какими бы оригинальными ни были элементы дискурса, под контролем психеи и ее окружения они приобретают определенный ритм; они образуют привычные последовательности, становятся виртуальным и наличным знанием о вещах, людях, природе и богах. Воображение было бы весьма ненадежно и неустойчиво в этих конструкциях, и не стали бы они автоматически навыками в дискурсе, если бы инстинкт изнутри и природа извне не контролировали процесс дискурса, не диктовали ему условий. Контролируемый таким образом дискурс становится опытом.

То, что скрытым образом дискурс является опытом и может быть превращен в знание, становится особенно очевидно, когда его прерывает шок. Не только может неожиданно появиться не та сущность, которую я ожидал или который был бы рад, но спокойное течение моих мыслей может быть целиком приостановлено или потрясено. Я могу испытать своего рода мгновенную и сознательную смерть, почувствовав исчезновение всего, что составляло мою вселенную, как будто я оказался лицом к лицу с пустотой или пропастью. Когда в моем спокойном дискурсе одна вещь, похоже, вступила в противоречие с другой, они стали всего лишь соперничающими образами в одном и том же поле, и я должен был бы только выбирать между ними, пользуясь доказательствами. Шок ничему не противоречит, но подрывает весь опыт. Свет на сцене гаснет, и дискурс утрачивает свой импульс.

В чувстве противоречия, по-видимому, есть элемент шока. Самое чистое эстетическое или логическое созерцание едва ли обходится без волнующего аккомпанемента интереса, поспешности, коренных поворотов и удовлетворения, но все эти драматические ноты сливаются в контрапункте рассматриваемых предметов, и я мыслю, доказываю, наслаждаюсь, не замечая этого. Но когда удар грома оглушает меня или когда вспышка молнии вдруг поражает и ослепляет меня, тот факт, что что-то произошло, намного более очевиден для меня, чем то, что же именно имело место; возможно, бывают присущие психее состояния шока, в которых напряжение события достигает максимума, в то время как сама

его природа остается такой неясной, что моим единственным переживанием его, вероятно, является недоумение, когда перехватывает дыхание и парализует страх. Чувство, испытываемое в подобных случаях, является, с некоторыми несущественными оговорками, подлинным чувством опыта.

Теперь может быть теоретически описан самый грубый и невыразимый в словах опыт, причем описан исчерпывающе, в терминах последовательной интуиции сущности, поскольку громкость, яркость, боль, как и ужас, являются сущностями или элементами сущностей, подобно любым другим данным. Когда такого рода сущности имеются в наличии, присутствует все, что можно когда-либо почувствовать в этом направлении и с любой степенью интенсивности. Абсолютная пустота, невыносимая боль, пронзительное отчаяние являются подобными сущностями, они могут развертываться и открываться интуиции аналогично другим сущностям. Но подобные сущности, относящиеся к самой грубой и примитивной жизни, содержат в себе призыв, непропорциональный их артикуляции, или, скорее, мы могли бы даже сказать, обратно пропорциональный ей; как будто чем большее значение имел бы опыт, тем менее он был бы звучен, и чем больше его слышно, тем менее он бы значил. Чистейший дискурс является опытом (не замечая этого), и самый слепой опыт является дискурсом (также не замечая этого), хотя мы не должны были бы называть его опытом, если бы он не содержал никакого ощущения перехода, никакой опытной перспективы. В той степени, в какой шок перечеркивает дискурс и уничтожает собственную основу, опыт становится неартикулированным опытом.

В грубом опыте, или в шоке, я не только обладаю ясным указанием для моей предельной рефлексии на то, что я существую, но мне предъявляется самое настоятельное требование верить в свое существование. Дискурс, когда я впервые выявил свидетельство о нем из чистой интуиции сущности, представился мне развивающимся наблюдением постоянного (сосредоточенным вниманием при наблюдении и регистрации существенных взаимоотношений данных элементов. Однако теперь, когда шок прерывает меня, дискурс переживает насилие. Сам предмет берется за оружие; один объект ставит меня в трудное положение, в то время как другой совершенно неожиданно атакует меня. Поскольку мой дискурс наблюдает и фиксирует этот перелом, теперь я должен утвердить это как устойчивое знание об изменяющемся.

Шок приходит один вслед за другим. Если бы этого не была, если бы я не пред-существовал, если бы я не представлял собой ничего, кроме интуиции этого шока, тогда этот шок на деле был бы не шоком, а иллюзией шока, только сущностью шока, обманчиво убеждающей меня, будто что-то произошло, в то время как на самом деле ничего не происходило. Если ощущение шока не обманывает меня, я должен был бы перейти из состояния, в котором шока еще не было, в то состояние, когда шок впервые потряс меня; после этого я должен перейти из этого состояния потрясения в другое, в котором моя интуиция синтетически охватывает приближение, природу и прекращение этого шока, так что я осознаю, насколько я был потрясен, но не испытываю этого вновь. Удивительное и двусмысленное наличие отсутствующего и продолжительность исчезающего называется память. Мои объекты исчезли, но я продолжаю рассматривать их. Они уже являются не сущностями, а фактами, а мое рассмотрение является не интуицией чего-то данного, а верой в нечто отсутствующее и устойчивым показателем того, что это тот же самый объект, хотя его образ во мне все время меняется, вероятно, прерывается, возможно, становится более бледным, расплывчатым и с каждым разом в большей мере ошибочным.

Переживание шока, если оно не является крайне обманчивым, таким образом, утверждает обоснованность памяти и изменчивого знания. Оно обосновывает реализм. Если было бы истинно то, что у меня когда-нибудь имелся опыт, я должен был бы не только существовать бессознательно, чтобы накопить его, но я также имею право недвусмысленно утверждать цельное царство существования, в котором одно событие может содержать реальное знание о другом. Опыт, даже представляемый самым критическим образом как непрерывное следование одного шока за другим и сохранение их в памяти, предполагает мир независимых

существований, развертывающихся в существующей среде. Верование в опыт (это верование в природу, как бы смутно ни представляли себе природу. В принципе, каждый эмпирик (натуралист, каким бы неуверенным ни был его натурализм на практике. Тем не менее шок, подобно любому другому датуму, по своей природе только представляет сущность и не может быть ничем б?льшим, но в этом случае его догматические призывы (а только этим определяет интерес к этому лишенному содержания опыту) были бы иллюзией. Интуиция была бы тем, что она есть, но это была бы ничья интуиция и она ничего бы не значила, ибо я не был бы самостью, если бы эта интуиция составила все мое бытие, так что она не была бы сопряжена ни с какими изменениями в моих условиях, и, пожалуй, была бы сама всем универсумом. Шок не позволит мне, пока он длится, принять любую такую гипотезу. Он сам является наиболее позитивным, хотя и самым слепым верованием; он громогласно свидетельствует о событии, так что если бы случайно изменение, которое я ощущаю, было всего лишь чувством в единстве апперцепции, шок был бы иллюзией в том единственном смысле, в каком это можно сказать о любой интуиции: он побуждал бы меня к ложному верованию, будто нечто подобное данной сущности существует. Если изменение было бы действительным, а не воображаемым, шок является не только интуицией изменения, но и волнением в процессе изменения, охватывающим эту интуицию. Я прав, постулируя несистематический опыт, в котором эта интуиция является побочным обстоятельством. Я представляю собой не зрителя, наблюдающего этот водопад, а поток воды, падающей через край. Таким образом, если состояние шока, как, пожалуй, это должно быть, было первым ощущением в жизни, то оно провозгласило существование предшествующего состояния ощущения. Если это не иллюзия, чего я не могу допустить, когда я чувствую шок, он предполагает изменения в обширной растительной жизни, в которой чувство удивления является подлинным индикатором новизны.

Прежде чем я заметил шок и позволил себе принять его свидетельство, я уже допустил на основе диалектики, что дискурс (это процесс, однако теперь, когда я наблюдаю, как более или менее острый шок в любой момент прерывает дискурс, я могу назвать дискурс опытом, так как теперь вижу, что в попытках проследить диалектические отношения сам дискурс не является диалектическим. Чистый случай определяет, будет ли он добросовестно следовать избранному им предмету, так же как чистый случай определил, что он должен избрать конкретно этот предмет. В моем теоретическом замешательстве и беспомощности перед этой абсолютной случайностью всех предметов и всех данных меня поддерживают только животные предпосылки, привычки, ожидания или приметы, которые, однако, моя скептическая рефлексия должна осудить как совершенно произвольные. Я только могу сказать, что я представляю собой игру непостижимой судьбы, что во время шоков, которые случаются со мной часто и быстро, и во время спокойных промежутков между ними мне открываются разнообразные сущности, большинство из которых беспричинны и не имеют отношения друг к другу. Если бы их поток не унес меня, что было бы в какой-то мере благоприятно, в водоворот работы и игры, я был бы навсегда обречен на пустое созерцание и одно только недоумение. Сама вера в опыт является внушением инстинкта, а не самого опыта. Стойкость моей природы, упрямо придерживающейся своих предрассудков и предполагающей их силу, предоставляет и даже навязывает моему опыту шаблон, которого нет в моих прямых интуициях, очень изощренных по своим свойствам (даже когда это знаки одного и того же внешнего объекта) и во многом смешанных с фантазией. Даже натуралист должен восполнять посредством аналогий и предположений (которые он, может быть, называет индукцией) огромные пробелы среди своих действительных наблюдений, и даже за их пределами.

Вера в опыт является началом того смелого инстинктивного искусства, более пластичного, чем инстинкты большинства животных, благодаря которому человек поднялся до своего высокого положения на земле: оно открывает ему ворота природы как внутри, так и вне его самого, позволяет ему преобразовать свое понимание, первоначально чисто эстетическое в математическую науку. Это такой значительный шаг, что большинство умов неспособно его

предпринять. Они спотыкаются, остаются привязанными к поэзии и гномической¹⁵ мудрости. Наука и разумная добродетель, которые пустили свои корни в почву природы, до сего дня признаны или понятны только отчасти. Хотя они ведут к полной свободе, занятия ими требуют жертв, и многие предпочитают жить под обаянием интуиции, не имея мужества поверить в опыт.

Глава XVI

ВЕРА В СУБЪЕКТ

Опыт, когда он прерывается шоками, реагируя на них инстинктивно, навязывает верование во что-то гораздо более неясное, чем умственный дискурс, а именно в личность или субъект, (это не просто трансцендентальное *ego*, принципиально необходимое для всякой интуиции, а также не такой поток чувствительности, который конституирует сам дискурс, а субстанциальное бытие, предшествующее всем превратностям опыта и служащее инструментом для их производства или почвой, из которой они вырастают.

Шок является сильным аргументом здравого смысла в пользу существования материальных вещей, поскольку здравому смыслу нет необходимости отличать порядок очевидности от порядка генезиса. Если я уже знаю, что на мою голову упал кирпич, моя больная голова (для меня доказательство того, что кирпич был реален, но если я в полной наивности начинаю с боли, я не могу вывести из нее никаких заключений относительно кирпичей или законов тяготения. Здравый смысл под опытом понимает эффект воздействия внешних вещей на человека, если он в состоянии сохранить и запомнить его. Конечно, фактически шок обычно имеет внешнее происхождение, хотя в сновидениях при душевном расстройстве, галлюцинациях и вообще при болезнях он может иметь внутренние причины. Но одна все вопросы об источнике шока для скептика напрасны, он ничего не знает об источниках, он спрашивает не откуда происходит шок, а к каким верованиям он приводит. В критике знание *argumentum baculaneum*¹⁶ смешон и годится только для спин тех людей, которые его используют. Почему, если я (дух, созерцающий сущности, я не должен чувствовать шок? Почему новизна и удивление не могут быть такими же темами для моего развлечения, как анализ или синтез теоремы или картины? Все сущности являются зерном для помола на мельнице интуиции, и любой порядок или беспорядок, любое качество звука или гнева одинаково уместны в опыте, который является, насколько я знаю или по крайней мере верю, абсолютным и не имеющим основы. Я называю его опытом, не потому что он что-то открывает в окружающей среде, которая его произвела, а потому что он состоит из ряда шоков, которые я рассматриваю и вспоминаю.

Однако, соглашаясь слушать голос природы, я спрашиваю себя, что может обозначать шок, о чем он предоставляет мне самое недвусмысленное свидетельство и наименее рискованным ответом будет: свидетельства о предубеждениях с моей стороны. Что шок доказывает, если он вообще что-нибудь доказывает, это то, что мне присуща природа, которая неодинаково принимает все события и изменения. Как могло бы удивить или встревожить меня какое-нибудь явление, как могла бы застать меня врасплох какая-либо помеха, если бы я не двигался каким-нибудь образом в некотором направлении с каким-то определенным ритмом? Если бы мне не была присуща подобная определенная природа, существование материальных вещей и наиболее сильные взаимодействия их друг с другом, доходящие до расщепления мира на атомы, оставили бы меня безмятежным наблюдателем их движения, в то время как определенная природа внутри меня, выведенная из равновесия противоречивыми тенденциями или независимыми событиями внутри моего собственного бытия, обосновала бы мое чувство удивления и ужаса. Тогда субъект, а не материальный мир, является первым объектом, который должен быть мною постулирован, если я хочу, чтобы мое переживание шока расширило систему моих догм в строгом порядке очевидности. Но какого рода этот субъект? В одном смысле существование интуиции равносильно существованию субъекта, хотя и как чисто формального и прозрачного субъекта (чистого духа. Несколько более конкретный субъект связан с дискурсом, когда интуиция применялась

в последовательном рассмотрении постоянных идеальных объектов, поскольку здесь субъект не только видит, но и привносит произвольный порядок в повторяемые им предметы, пересекает их в различных направлениях, варьируя с разной степенью полноты, прекращая или возобновляя их рассмотрение по собственной воле, так что субъект, вовлеченный в дискурс, представляет собой мыслящий ум. Теперь, когда я согласился построить новые догмы на ощущении шока и рассматривать его не как сущность, являющуюся мне без каких-либо оснований, а как обозначение чего-то, относящегося к тревоге и удивлению, которыми он наполняет меня, я должен уплотнить, субстанциализировать субъект, в который я верю, признать в нем природу, которой присуще собственное движение, значительно более глубокое, более непрерывное, более пристрастное, чем дискурсивный ум; субъект, постулированный чувством шока, (это живая психея.

Психея (самый темный скрытый объект. Здесь я осмеливаюсь опуститься в нижний мир. Тревожно, но вместе с тем полезно отметить, как близок радикальный скептицизм к вратам Аида. У меня будет случай рассмотреть, что представляет собой психея физически, позднее, когда больше узнаю о мире, в котором она играет важную роль. У нее там свой интерес, поскольку она живо принимает или активно отвергает разные события. У такого полного тревог существа должны быть очень опасные условия существования, и еще некоторая врожденная приспособленность к ним, раз ему вообще удастся существовать. Здесь мне достаточно признать только следующее: чистый дух, входящий во всякую интуицию сущности, в моем случае неоднократно и довольно последовательно реализуется в процессе умственного дискурса; далее, он действует в воспоминаниях, любви и ненависти, так что он кажется похожим на дикое животное, нападая на свои представления как на жертвы, чтобы растерзать их и превратить их в свою субстанцию. Дух, как это скоро обнаружится, не является субстанцией, ему не присущи какие-либо интересы. Все это нелепое животное насилие, может быть, не что иное, как фантазия, и теперь признанный факт, что дискурс получает продолжение, может быть достаточен, чтобы избавиться от этих необузданных движений. Музыка, бесплотная в своем бытии и объективной направленности, завершается в чистой сущности, тем не менее в своей игре с чистой сущностью она полна трепета, напряженности, ужаса, возможности, сладости. Если простой звук может нести такую нагрузку, почему не должен вести себя подобным же образом дискурс, в котором образы многих других типов проходят через поле интуиции? Это не праздное сомнение, поскольку вся буддистская система построена на признании его как догмы. Трансцендентализм, хотя он много говорит о субъекте, отрицает или должен отрицать его существование, как и существование вообще чего бы то ни было; трансцендентальный субъект (это чистый дух, непоследовательно отождествленный с принципом изменения, предпочтения и предопределения, которые эта философия называет Волей и который, однако, как я покажу, на самом деле является материей. Также и буддисты, отрицая субъект, вынуждены ввести его двусмысленный эквивалент в виде унаследованной вины, невежества и иллюзии, которые они называют кармой. Все это скрытые мистификации, о которых я упоминаю здесь только потому, чтобы не продолжать постулировать природную психею, не сознавая должным образом риск, на который я иду. Природная психея, представляя собой особенность материи, должна описываться и изучаться извне, научно, бихевиористской психологией; но критический подход к ней, как к постулату животной веры, чрезвычайно труден и преисполнен опасностей. Психология познания (literary psychology), рамками которой я сейчас ограничиваюсь, находится у себя дома, только занимаясь чувствами и идеями взрослых людей, поскольку они выражаются в языке: чем глубже пытается она пойти, тем более неясными становятся ее понятия, наконец, она совершенно теряется во мраке. Поэтому я даже не могу надеяться открыть, что в точности представляет собой эта психея, эта моя самость, существование которой столь несомненно для моей активной и страстной природы. Свидетельство о ней в состоянии шока едва ли выходит за пределы инстинктивного утверждения, что я существовал прежде, что Я (это принцип стабильной жизни, принимающий или отвергающий события, что Я (это ядро активных интересов и

устремлений. Будет легко привить на эти устремления и интересы ментальный дискурс, который, как я ранее утверждал, уже получил развитие и который составил в этой критической реконструкции верования мое первое понятие обо мне самом. Однако здесь заключена одна из угроз моему исследованию, поскольку умственный дискурс не является и не может быть субъектом или психеей. Он весь лежит на поверхности; он не предшествует своим данным, не сохраняется дольше них, не направляет, не постулирует их; он просто отмечает и запоминает их. Дискурс (это самая поверхностная функция субъекта. Если бы я был склонен понимать под субъектом ряд идей, я бы просто возвращался как скептик к той стадии философского обнажения, на которой я оказался перед тем, как согласился принять свидетельство шока в пользу моего существования. Я, если я существую, не представляю собой ни идею, ни факт того, что могут существовать несколько идей, из которых одна вспоминает другую. Если Я существую, Я (живое существо, для которого идеи (это побочные обстоятельства, как аэропланы в небе; они пролетают, я не очень внимательно провожаю их глазами, более или менее прислушиваюсь к ним, узнаю их и припоминаю; но внизу дремлет и дышит субъект, таинственный природный организм, полный темных, но определенных потенций, так что разные события вызывают совершенно несоразмерные действия. Субъект (это источник радости, безрассудства и печали, усиливающихся и уменьшающихся, скучное, дремлющее существо среди обширного природного мира, в котором он улавливает только немногие проходящие и случайные перспективы.

Глава XVII

КОГНИТИВНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ ПАМЯТИ

Вера в память содержится в элементарных зачатках разума; разум и память (на самом деле имена для практически одной и той же вещи, поскольку память предоставляет большую часть полностью разработанных ресурсов разума. В разуме никогда нет ничего, что не могло бы затем появиться в памяти, если психея сможет на какой-то миг вновь возвратиться к старым путям. В компетенции разума и памяти (одинаковым образом внешние вещи, то есть знание. Когда познанные вещи суть события прошлого опыта психеи, представленные спонтанно, знание называется памятью. Знание называется разумом или интеллектом, когда познанные вещи являются прошлыми, настоящими и будущими событиями в широком окружении, независимо от того, какими средствами их представили или сообщили. Сама память должна сообщать о фактах или событиях в естественном мире, если она должна быть знанием и заслужить название памяти. Интуиция, случайно повторяющая более раннюю интуицию, не будет памятью, то есть знанием об этом прежнем событии. Здесь должно присутствовать верование в том, что это событие ранее произошло наряду с неким указанием на его изначальное место.

Нужно допустить, что интуиция без памяти существовала в начале, но подобная интуиция рассматривает только сущность. Не направляемая памятью на прошлое, животной верой (на будущее или на внешние вещи, чиста интуиция не проявляет ни пронизательности, ни транзитивного интеллекта и не мыслит. Это всего лишь свет сознания, делающий действительной некоторую сущность. Когда этой сущности приписывают идентичность и длительность, о своих претензиях начинает заявлять память, хотя и косвенно. Когда я называю сущность идентичной, я подразумеваю, что я дважды рассматривал ее и располагаю истинной памятью о моей прошлой интуиции, поскольку я знаю, что она представляла именно эту сущность. Подобным образом, когда я называю сущность той же самой, не различая двух ее интуиций, которые могут быть непрерывными, я бессознательно постулирую истину памяти, поскольку это ощущение жизни, жизни вплоть до настоящего момента, является первичной памятью. Она устанавливает временную перспективу, твердо веря в ее поступательный характер. Части видимого настоящего интерпретируются как остатки удаляющегося настоящего (настоящего, которое никогда не вернется, но видение которого я утратил не вполне. Перспектива рассматривается не как чисто кажущаяся, но как подлинный меморандум фактов, прошедших и ушедших.

Память использует все средства своего арсенала на известном расстоянии, но рассматривает их непосредственно, современным взглядом. Она не делает критерием непосредственности то, насколько может быть далек объект в направлении прошлого. То же относится к предвидению: я предвижу свою смерть столь же непосредственно, как свой обед, не обязательно более туманно и гораздо более определено. Память и предвидение делают во времени то, что в пространстве делает восприятие. Здесь также данная сущность проецируется на объект, далекий от живой психеи, которая является органом интуиции и проекции. На самом деле объект не удален от разума, если под разумом я понимаю интеллектуальную энергию памяти, предвидения или восприятия, схватывающих свой объект и утверждающих его как цель, но он удален от психеи, материального агента, от меня здесь и теперь. Несколько меньший или несколько больший интервал во времени или в пространстве (а он есть всегда (не делает менее наглядным и прямым описание отдаленного события посредством сущностей, которые через него доходят до меня. Я вижу в небе чибиса так же непосредственно, как часы на своей руке, и слышу его песню так же легко, как тиканье часов у своего уха. Шотландскую юбку, которую я носил в детстве, я помню так же непосредственно, как зонтик, который я брал утром. Трудность в расширении пределов знания (чисто физическая; я могу быть близоруким, механизм памяти может нарушиться или, состарившись, может подавлять паразитирующими на нем фантазиями. В памяти иногда можно почти точно воспроизвести некоторые сцены прошлого или опыта. Если психея дважды пройдет через один и тот же процесс, (а будучи материальной, она состоит из привычек, (она будет дважды обладать одной и той же интуицией; но это точное повторение прошлого не только не конституирует совершенную память, оно ее исключает. Здесь будет недоставать чувства прошлого, уходящей перспективы, в которую память помещает свои данные, и это совершенное повторение прошлого не будет воспоминанием. Для истинности памяти также не является необходимой и полнота или точность образа прошедшего. Сила воспоминания заключена в чем-то другом, в проекции данной сущности (которая может быть неясной или чисто вербальной (на определенную точку или ядро отношений в природном прошлом. Память является подлинной, когда события, которые она обозначает, действительно имели место и соответствуют тому описанию, которое я сделал, каким бы кратким и абстрактным оно ни было. Полнота воспроизведения и эмоциональное стремление к прошлому состоянию не имеют значения, они по большей части проявляются в несущественных моментах. Здравая память исключает их по двум причинам. Телесная реакция на прежнюю среду сегодня едва ли возможна и, конечно, ей не соответствует. Следовательно, даже если бы нейрограмма в психеи вновь могла стать совершенной жизнью в своей полноте, она скорее превратила бы фантазию в бытие, жизнь в настоящем, чем трезвая память, соответственно наполняющая настоящее длительной перспективой. Вторая причина состоит в том, что нейрограмма скорее всего была модифицирована воздействием случайных обстоятельств, питания и неэффективных воздействий, так что прежнее движение на самом деле не может повториться и вызванная в памяти сущность на самом деле не будет той же самой. То, что она может казаться той же самой, в ее натуральном виде, не имеет отношения к делу. Как, если это живой образ, она могла бы не казаться таковой, если не существует другой памяти, чтобы проконтролировать ее? Но если я могу проконтролировать ее при помощи случайных свидетельств, обычно я обнаруживаю, что это кажущееся возвращение прошлого опыта является ничего не стоящей иллюзией. Если возвращение к прошлому кажется полным, это не потому что память точно восстановила факты, а потому что какие-то тонкие воздействия наполняют меня чувством, совершенно чуждым моим нынешним обстоятельствам и напоминающим о далеком прошлом. Этот драматический сдвиг, по-видимому, смещает все детали картины из перспективы памяти на передний план настоящего. На первый план выступает воображение, порождающее сон наяву, а не пробуждающее память, которая погружается в прошлый опыт. Запах кедрового сундука, в котором хранятся старые наряды, может живо вернуть меня в мое раннее детство. Но образы, которые сейчас представляются вновь ожившими, будут порождениями моей утонченной

художественной фантазии. Я буду смотреть на них глазами романтика, а не глазами ребенка. Я действительно могу восстановить в памяти давно забытые факты, но не могу оживить давно прошедший опыт. И какая в этом нужда? Удивительная тождественность может эмоционально переживаться даже тогда, когда два описания одной и той же вещи отличаются в каждом чувственном элементе, как это имеет место в метафорах, в мифах, в самом моем теле и в разуме, при обожевлении или в доктрине транссубстанциализации, которая выражает мистический опыт. В подобных случаях витальная реакция, глубокая переадаптация психеи на два явления (одна и та же. Поэтому я чувствую, что вещь, появляющаяся в двух образах, является одной и той же, что одно на самом деле есть другое, каким бы различными ни были две совокупности символов.

Я уже признал веру в память; не приняв ее, я не смог бы сделать первого шага вперед от самого безоговорочного скептицизма. Однако поскольку подобное принятие есть акт веры и утверждает транзитивное или реалистическое знание, я задержусь здесь, чтобы рассмотреть в более развернутой форме, в чем состоят когнитивные притязания памяти, на которых базируются все человеческие верования.

Парадокс познания отсутствующего заложен в прошедшем времени глагола; это парадокс самого знания, поскольку интуиция сущности названа знанием несправедливо; это воображение, поскольку единственный наличный объект в этом случае не является существующим, и описание его, будучи творческим, не может быть ошибочным. Каждый прекрасно понимает притязание на знание, когда его выдвигает, всякий раз, как только воспринимает или вспоминает что-то или придерживается какого-то верования; но если мы хотим рефлексивно перефразировать эту претензию, мы, по-видимому, могли бы сказать, что в этом притязании внимание явно обращается к отдаленному объекту, окруженному другими близкими объектами (хотя и на некотором расстоянии), на которые внимание обращается только потенциально. Если бы этот передний план или обрамление совсем отсутствовали, я жил бы в изображаемом прошлом, думая, что это (настоящее; память отказалась бы от своей функции запоминания и стала бы фантазией. Она утратила бы возможность ошибаться, более не являясь сообщением о чем-то другом, а превратилась бы в бесполезное занятие, которое моралист мог бы назвать иллюзией на том основании, что ее образы не имеют отношения к практической жизни разума, а эмоции попусту растрачиваются. Но она ничего бы не искажала, поскольку, перестав быть памятью, она утратила бы все когнитивные претензии.

Таким образом, для проекции, которая делает наличный образ видением определенного факта в прошлом, необходим передний план или обрамление: я должен стоять здесь, чтобы указать туда. Однако, если бы мое нынешнее положение ясно воспринималось, если бы весь непосредственный датум равным образом сфокусировался бы в мысли, картина представлялась бы плоской, а перспектива только изображенной на ней, как на дешевом занавесе в театре. Это разрушило бы претензию или, если вам угодно, иллюзию памяти помнить то, что я сейчас занят воспоминаниями, ибо в этом случае я должен был бы рассматривать исключительно самого себя и только настоящий момент, в то время как в живом воспоминании я забываю о себе, живу в настоящем, думая только о прошлом и рассматривая прошлое, не предполагая, что я живу в нем. Мои воспоминания, мои *souvenirs* являются единственными сущностями, которые я читаю так, как я читал бы буквы на этой странице, не относясь к ним созерцательно, как к формам, представленным в завершенности в соответствии со своей собственной категорией, а с готовностью принимая их (как во всяком знании) как вестников, как знаки существования, о котором они дают только несовершенное представление, но которое возможно заместить лучшим. Погружаясь в прошлое, я кажусь себе вступающим в царство теней, и основной момент моего бодрствования, который не позволяет мне действительно вообразить, будто я живу в том, другом мире, состоит как раз в моем стремлении видеть лучше, все вспомнить, восстановить прошлое таким, каким оно на самом деле было. Ускользящий и ненадежный характер подобных образов, когда они приходят ко мне, серьезно беспокоит меня, как пелена,

искажающая и заслоняющая истину. Моя душа как бы сосредоточена на этой исчезнувшей реальности, и я знаю, что перед моими глазами предстает только несовершенный образ. Но если бы моя душа сейчас обладала интуицией того, чем когда-то была реальность, воспоминание было бы излишним, поскольку я обладал бы всем, что она может представить мне, прежде чем она это представила, и, с другой стороны, если бы моя душа не знала реальности, как я мог бы отвергать, критиковать или считать правильными образы, которые претендуют на то, что они восстанавливают забытые моменты? Очевидно, что то, что я называю душой, то есть психея, сама по себе слепа. Ее единственным светом является воображение, однако она является априорным принципом выбора и суждения, и действия во мраке, так что, когда свет освещает эту тьму, она воспринимает его и сразу чувствует, падает ли луч света на тот объект, который она ищет осязательно, или на какую-то ненужную вещь. Психея, если речь идет о памяти, содержит в себе все начала, все возможности и скрытые склонности, которые оставило прошлое. Всех их возможно свободно развернуть или возбудить и вызвать к действию, если они не получают достаточных стимулов, или наталкиваются на препятствия и противоречия; чувство этого удачного или искаженного представления опыта, когда память предлагает свои образы, позволяет психею судить об этих образах как об истинных или ложных, адекватных или неадекватных, не располагая никакими другими образами для сравнения.

Это переживаемое несовершенство памяти не является препятствием для непосредственности подобного познания, которое она в действительности предоставляет. Память, какой бы смутной она ни была, переносит меня на намеченную сцену. В ее зыбком свете я прохожу по старинным помещениям; я вновь вижу (безусловно, неточно), что там происходило. Хотя многие когда-то очевидные детали утрачены или передвинуты, память может видеть основные черты прошлого в более истинной перспективе, чем та, в которую они были первоначально помещены опытом. Призрачность памяти несет в себе это возмещение, сравнимое с глубиной сочувствия, которая компенсирует старости утрату живости; память (это воссоздание, а не повторение. Образ истории семьи, которую вызывает во мне открытый сундук, может быть в большей мере истинным, чем любой образ, который вставал передо мной, когда я был ребенком. Мои детские восприятия сами по себе были описаниями (наивными, разрозненными, ограниченными. Воспроизводя мои прошлые восприятия, моя дремлющая память не рассматривает эти восприятия (восприятия, будучи духовными фактами, могут стать объектами только намерения. Память рассматривает те объекты (сущности или вещи), которые рассматривались в прошлом восприятии. Но почва, на которой сейчас растут эти интуиции, была обработана и полита, и даже будучи несколько истощенной, она может представить более точное описание прежних событий, чем существовавшие прежде, более развернутое, более связанное, более познавательное. Память, по существу, имеет те же функции, что история и наука (рассматривать вещи с большим пониманием, чем тогда, когда их видели. Разум никогда не поднялся бы выше самой беспомощной животной рутины, если бы он не мог забывать, вспоминая, а также не был бы в состоянии подставить на место бесконечной плоскости физического опыта духовную перспективу. Это нисходит почти как благодать; то, что незаметно проникает как идеализация, гипербола и легенды, не является чистым злом. Несмотря на примесь фантазии, память, легенда и наука добиваются подлинного интеллектуального господства над течением вещей и, подобно чувствам, они добавляют собственную поэтическую жизнь и ритм. Эта возможность господства опять доказывает, что образы и апперцепции, связанные с воспоминанием, являются свежими образами и новой апперцепцией. Она также показывает, что более позднее существование во времени акта воспоминания никоим образом не лишает связанное с ним знание непосредственности и не отсекает его от его объекта; напротив, поскольку объект постулирован и избран психею еще до появления каких-либо образов и апперцепции, последние вольны описывать объект любым возможным для них способом, используя для его истолкования все последующие ресурсы разума и тем самым описывая его гораздо более истинно, чем показывали его чувства, когда он был в наличии.

Здесь бросается в глаза важная деталь, которая на первый взгляд может показаться парадоксальной, но только потому что бедность языка часто заставляет нас использовать одно и то же слово для обозначения совершенно различных вещей. Поэтому естественно, как кажется, допустить, что человек может вспоминать свой собственный опыт, но не может вспоминать ничего другого; и все же то, что он обычно вспоминает, (это не свой опыт, но обычным объектом его памяти является объект его прошлого опыта, события или ситуация, при которой его прошлый опыт имел место. Опыт (это интуиция, это дискурс, насыщенный шоками и резюмированный, но интуиция, действительный опыт, не является объектом какой-либо возможной интуиции, представляя собой, как я сказал выше, духовный факт. Ее существование может быть обнаружено только посредством духовного воображения и постулировано в действии, как опыт, принадлежащий духу при определенных обстоятельствах, реальных или воображаемых. Это истина моего собственного прошлого или будущего не в меньшей мере, чем опыта других. Когда я вспоминаю, я смотрю на свой прошлый опыт не в большей степени, чем, думая о неудачах друга, я рассматриваю его мысли. Я их придумываю; или, точнее, я представляю в воображении нечто, произведенное мной самим, как будто я пишу роман и приписываю этот интуитивный опыт себе в прошлом или другому человеку. Естественно, я могу приписать только те чувства, которые может пробудить моя психея; хотя ей и присуща творческая природа, она творит произвольно, в соответствии с образцами, закрепленными привычкой или инстинктом, так что справедливо, хотя и в нестрогом смысле, что я могу вспоминать или обдумывать только то, что я испытал на опыте; но это происходит не потому, что сам мой опыт остается во мне и его можно снова наблюдать. Подобное понятие достаточно разъяснить, чтобы сделать смешным. Живая интуиция не может сохраняться, и даже пока она жива, она не может быть обнаружена. Она (духовна.

Воспоминание (это начинающееся соответствующим образом сновидение; оно рассматривает те же самые объекты, которые рассматривал опыт, перебирает их, поскольку память пробуждается возобновлением того самого процесса в психее, посредством которого этот опыт первоначально возник. Психея, поскольку она погружена в этот сон, не знает ни того, что это память, ни того, что ее объекты отдаленны и, возможно, больше не существуют; она постулирует их с полной уверенностью в действии, как во всяком другом сне. Но в нормальной памяти иллюзия контролируется и корректируется, и действительно данный опыт со всеми положенными объектами связывается с прошлым, поскольку на этот раз она заключена в другой опыт, с менее податливыми объектами и средой, к которой тело приспособлено, несовместимой с вспоминаемым окружением. Отсюда призрачная, туманная, нереальная форма вспоминаемого прошлого: образы устремляются один за другим, как это иногда происходит в кино, или как в сновидении волна с белым гребнем может превратиться в скачущую лошадь. Между тем разум управляется с бурей безудержно начинающихся фантазий, соединенных с внешними чувствами, посредством постоянного напряжения инстинктов, которые привязывают его к наличному миру.

Опыт невозможно вспомнить, восприятие невозможно ни воспринять сейчас, ни пережить заново. Этот факт объясняет как непосредственность памяти (поскольку она рассматривает те же самые объекты, то же самое окружение, как и прошлый опыт, и воспроизводит те же самые эмоции), а также призрачность памяти и всякого воображения (поскольку порожденные воображением верования и эмоции не имеют отношения к нынешнему миру и подавляются теперешними требовательными реакциями).

Обычно существует большая разница между памятью и воображением, между историей и художественной литературой, они глубоко расходятся по своему физическому содержанию; одни рассматривают события в природе, другие (воображаемые сцены; тем не менее, психологически они чрезвычайно близки. Только благодаря последующему контролю мы различаем, какой тип воображения представлен в памяти, а какой тип литературы является историей. Для непосредственного прошлого этот контроль осуществляется привычкой и ощущением. Непосредственное прошлое находится в непрерывной связи с настоящим; я

уверен, что помню, а не просто воображаю улицу, на которой я живу, потому что я готов уверенно пройти по ней, а, подняв глаза, могу увидеть ее из окна. Это объект, непрерывно связанный с повторяющимися объектами моей нынешней веры. Когда прошлое является более отдаленным, этот контроль, будучи тем же самым в принципе, проводится не так непосредственно. Здесь свидетельством истины памяти является главным образом навык памяти. Я уверен, что я помню, а не просто воображаю то, о чем я всегда говорил, что помню, так же как мы верим, что события исторические, а не вымышленные, когда историки постоянно воспроизводят их. Поэтому вымыслу очень легко на основе наших практических навыков, раз включившись в то, что мы рассматриваем как реальные события, навсегда приобрести статус факта. Автобиографии и религии (даже если они не были систематически переработаны воображением, что обычно имеет место) содержат много таких невольных недоразумений. *Vice versa*¹⁷, живой вымысел спонтанно приобретает форму истории или воспоминания. Хотя невозможно попытаться установить какую-нибудь связь Робинзона Крузо с подлинными воспоминаниями или историей ни в начале, ни в конце, в повествование было вплетено множество реальных фактов, чтобы усилить его правдоподобие, и как бы поглотить вымышленные детали в романтическом попури общепринятых верований. "Однажды..." (говорит рассказчик, чтобы незаметно привить свои воображаемые события на древо вещей, в которые обычно верят. В Тысяче и одной ночи нас переносят в один из множества городов или на один из островов в море, благодаря чему вымысел становится захватывающим, а реальный мир более чудесным и великим. Критика памяти и истории (щекотливое, а иногда и комическое предприятие, поскольку только воображение может быть задействовано в ее осуществлении, и мы судим об авторитетности документов и сообщений нашего прошлого опытом посредством того критерия, что в данный момент может оказать решающее влияние на наше верование и создать живую иллюзию. Но принцип, на основании которого мы вообще доверяем памяти, всегда один и тот же. Он глубоко парадоксален. Как вообще возможно наблюдать течение? Если есть течение, начальная часть его уже ушла, в то время как последующая только появляется, как тогда можно наблюдать отношение, переход? Где происходит наблюдение? Если оно последовательно занимает по очереди каждый момент, как оно может соединить их? Если оно происходит извне, как может коснуться какого-нибудь из них? Во всяком случае, наблюдение представляется находящимся вне течения, которое оно воображает, но которому не подчиняется, ибо, если его бытие мгновенно, тогда в нем нет течения, а если оно охватывает все наблюдаемые моменты и одновременно с каждым из них, оно вновь не претерпевает изменений. Конечно, аналитически очевидно, что чувство изменения, необходимо подпадающие под единство апперцепции, трансцендентно этому изменению, какими бы изменчивыми ни были условия его собственного происхождения. Разум, в силу своей природы разума, (вне времени. Является ли тогда время всего лишь картиной времени и не может быть ничем иным? Является ли течение, существенное качество существования, только простой видимостью и, по существу, неспособно существовать на самом деле? Здесь есть опасность чудовищной иллюзии, жертвами которой, как я думаю, стали наиболее выдающиеся метафизики. Мы должны признать, что дух находится вне времени, что восприятие течения (или чего-то еще подобного) само не является течением, а синтетическим взглядом и единой интуицией отношения, формы, качества. Видимое повсюду универсально, видение повсюду сверхъестественно. Но это допущение далеко не подразумевает отрицание течения (то есть отрицание освобождения этого самого духа, которому мы приписываем такие огромные привилегии. Одна из привилегий, которая, как мы должны допустить, присуща духу, поскольку мы утверждаем, что она содержится во всех проявлениях духа, (это то, что он понимает, то, что он высказывает нечто истинное о чем-либо. Условия его собственного бытия, то, что не исключают, если он действительно разумен, того, что он выявляет вещи, конститутивно отличные от него. Еще в меньшей степени он препятствует существованию этих недуховных вещей. Какое безумие отрицать, потому что мы можем наконец выявить духовность духа, что для него могло бы

существовать нечто, что следовало бы понять? Зачем притуплять ту способность, которой, как обнаруживается, мы обладаем? Зачем таким образом лететь вверх тормашками из-за нашего и без того не столь великого достоинства и доводить себя до потери дара речи от удивления перед нашей способностью говорить? Этот сверхъестественный статус и сверхвременные масштабы духа не являются привилегиями, это (потери; это жертвенные условия, с точки зрения естественного существования, которым должны подчиниться любая способность, если она должна понимать. Конечно, понимание (это само по себе достижение (хотя не все философы ценят его высоко), но за него нужно платить, платить выходом в четвертое измерение, быть не тем, что мы понимаем. Так, если течение в своем гуле и постоянном слиянии движений помнит, что оно течет, оно не останавливается в материальном смысле; но само чувство, что то, что протекает в данный момент, пришло издалека, что оно приобрело новую форму и устремляется навстречу новым преобразованиям, избежало этой судьбы, поскольку это чувство, в отличие от психеи, которая осуществляет его, направлено по касательной к потоку, который оно наблюдает, является не мгновенным, не длительным, но просто понимающим. Как далеко может простираться его взгляд в прошлое или будущее, является делом случая и уровня приспособленности психеи в данный момент, но дух потенциально всезнающ; границы пространства и времени не замыкают его. Они представляют собой лишь межевые меты на поле и границы поля в ландшафте. Он способен рассматривать все времена и все существование, если при установлении некоей электрической связи с местом время и существование будут готовы сообщать ему о себе. Ведь у духа нет интересов, любопытства, животного нетерпения; и так как он появляется только тогда и там, когда и где природа призывает его, он наблюдает только то, что природа обычно ему предлагает.

Примечания:

1 Discours (оформленное, упорядоченное мышление (лат.).

2 Esprit fort (вольнодумец (фр.).

3 In medias res (в самую суть вопроса (лат).

4 Ad libitum (произвольно (лат.).

5 Intuition (созерцание (от лат. intuitio (созерцаю). Сантаяна употребляет этот термин исключительно для обозначения акта созерцания (чувственного или умозрительного), а не как чутье, прозрение.

6 Fiat ("да будет" (лат.).

7 Datum (непосредственно очевидное, данное безотносительно к каким-либо отношениям (англ.)

8 In vacuo (в пустоте (лат.).

9 Rausch (опьянение (нем.).

10 Egotism (утверждение, что Я, Ego, полагает не-Я, что дух является абсолютной и единственно возможной формой действительности.

11 Esse est percipi (существовать (значит быть воспринимаемым (лат.).

12 Gef?hl ist alles (ощущение (всё! (нем.).

13 Intention ((от лат. intendo (направлять) направленность (действия)..

14 Стать вечным (греч.)

15 Гнома (от греч. gn?m? (изречение) (стихотворный афоризм.

16 Палочный аргумент (лат.).

17 Наоборот (лат.).

+++